



HAL
open science

Звуковые архивы. Европейская память о гуглаге

Alain Blum, Emilia Koustova

► **To cite this version:**

Alain Blum, Emilia Koustova. Звуковые архивы. Европейская память о гуглаге. Natalia Ablazhey et Alain Blum. Миграционные последствия Второй Мировой Войны: Этнические депортации в СССР и странах Восточной Европы, Наука, pp.121-166, 2012, 978-5-02-019051-1. <halshs-01003017>

HAL Id: halshs-01003017

<https://shs.hal.science/halshs-01003017>

Submitted on 9 Jun 2014

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Часть 2

«ПАМЯТЬ О ДЕПОРТАЦИЯХ»

А. Блюм, Э. Кустова

ЗВУКОВЫЕ АРХИВЫ. ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАМЯТЬ О ГУЛАГе

С расширением Евросоюза европейская история подверглась не столько объединению, сколько фрагментации: она распалась на множество национальных историй, имеющих истоки не только в героическом прошлом, но и в истории XX в. с ее волнами насилия, жертвами или участниками которого были различные группы населения, живущие сегодня на территории этих государств. Одним из примеров таких волн насилия являются принудительные переселения, ареной которых неоднократно становилась Европа в XX в.¹ В странах Восточной и Центральной Европы они служат сегодня фундаментом национальной истории, как об этом свидетельствуют материалы многочисленных мемориалов и музеев. В основном они представляют собой чрезвычайно выборочные национальные нарративы, в которых не делаются попытки вписать эти процессы ни в общую историю Европы или СССР, ни в историю насилия как одного из ключевых явлений XX в. Таким образом, наравне с политическими заключенными депортированные становятся символом насилия, обрушившегося на жителей этих регионов, и превращаются в одно из ключевых воплощений образа жертвы в истории различных стран Восточной и Центральной Европы. В то время как Холокост начиная с 1960-х гг. рассматривается в качестве крайнего случая коллективного насилия, являющегося частью истории всего человечества, сталинские депортации дробятся и не включаются в общий контекст европейской истории.

Столь же разнородный характер носит осмысление этих депортаций. В большинстве стран Восточной и Центральной Европы не ставится вопрос о статусе жертв и палачей: ответственность за насилие возлагается на представителей советского режима, а местные жители предстают в роли жертвы. Участие представителей местного населения в осуществлении репрессий и депортаций пока почти не рассматривается, а связь между движением сопротивления советской оккупации и депортациями установлена лишь частично.

В России, напротив, отдельные исследователи ставят акцент на том, что советские граждане становились жертвами повстанцев. Так, участники проекта «Жертвы национального террора в западных регионах СССР» отмечают, что в советское время исследователи не могли уделять внимание

¹ См.: Ferrara A., Pianciola N. L'età delle migrazioni forzate: esodi e deportazioni in Europa, 1853–1953. Bologna: Società editrice il Mulino, 2012.

вооруженной борьбе и жертвам с советской стороны, так как это противоречило идее братской дружбы советских республик¹. Сегодня подвергаются критике попытки тех или иных историков превратить в героев всех, кто с оружием в руках выступал против советских войск. Критика сопровождается риторическим конструированием объекта исследования: проводятся параллели, а то и ставится знак равенства между жертвами из числа советских граждан и жертвами сталинизма. Так, «виртуальный мемориал», т.е. база данных с именами жертв, а также некоторые другие элементы не могут не напомнить хорошо известные базы данных, содержащие информацию о жертвах сталинских репрессий.

Как видим, подход, который позволил бы пойти дальше упрощенного видения истории, отсутствует. Обычно речь идет о фрагментарной истории, в которой одни и те же лица являются жертвами для одних и палачами других. Акцент на жертвах и широкое обращение к индивидуальной памяти способствовали «национализации» и схематизации исторических нарративов, которые в результате сводятся к противопоставлению одних другим.

Нередко это приводит также к забвению тех категорий населения, которые практически исчезли с рассматриваемых здесь территорий. Речь идет, прежде всего, о евреях, память о которых была вытеснена из многих национальных исторических нарративов, несмотря на то, что до Второй мировой войны они составляли значительную часть населения этих стран. В экспозиции музея жертв геноцида в Вильнюсе рассказывается о депортации июня 1941 г., но информация о том, что эта операция проводилась одновременно на территории трех прибалтийских государств отсутствует. Евреи в этом музее практически не упоминаются: с недавних пор им посвящен один зал, но по сравнению с советскими депортациями история Холокоста явно отступает на задний план. Музей оккупации в Риге уделяет большее внимание истреблению евреев, но в центре экспозиции все равно стоит национальная латышская история.

В других странах подобному забвению зачастую подвергаются поляки, жившие на территории Украины и Литвы, венгры и немцы Румынии, Чехии и Словакии. Судьбы этнических немцев, живших в этих регионах, рассматриваются обычно в рамках истории Германии, а не соответствующих стран Восточной и Центральной Европы.

Мы сталкиваемся здесь с парадоксом: «национализация» истории ведет к тому, что депортации мыслятся в этнических терминах, несмотря на то, что сталинская модель репрессий носила более широкий характер, объединяя различные формы господства. О чем бы ни шла речь: о бюрократической машине, выполняющей решения, о форме этих решений, о конкретных репрессивных практиках, — все они следовали схемам, которые выходили за национальные и этнические рамки. Подобным образом не могут быть сведены к национальному измерению и судьбы жертв этих репрессий. Часть из них вернулась впоследствии к себе на родину, другие заново выстроили свою жизнь в местах ссылки², третьи отправились ис-

¹ lists.historyfoundation.ru

² Кустова Э. Стать советским человеком? Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе. URL: <http://museum.gulagmemories.eu/ru/salle/ctat-sovetskim-chelovekom>

кать счастья вдали от родных мест и от тех регионов, куда они были депортированы¹.

Мы не хотим сказать тем самым, что национальное измерение лишено смысла. Очевидно, что литовцы, эстонцы и латыши, подвергшиеся депортации накануне нападения Германии на СССР, стали жертвами репрессий прежде всего потому, что были гражданами прибалтийских республик. Не менее важными, однако, могли быть и такие причины, как принадлежность к социальным группам, считавшимся враждебными. Как бы то ни было, критерии для выселения явно выходили за рамки национального измерения, так как речь шла о повторе — более успешном с точки зрения организации — депортаций начала 1930-х гг. и 1936–1938 гг. Бюрократическая логика этих операций очень сильно напоминала предыдущие депортации, а терминология, которая использовалась для обозначения лиц, подлежащих высылке, опиралась на уже сложившуюся к тому времени в СССР традицию.

В силу этих причин одной из целей проекта «Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе», в ходе которого были записаны представленные здесь интервью, было выйти за рамки национальных историй, чтобы сосредоточиться на изучении определенной репрессивной практики, которая заключалась в перемещении сотен тысяч индивидов с западных территорий, не входивших в состав СССР до пакта Молотова–Риббентропа. Стремясь лучше осознать сходство их опыта и в то же время подчеркнуть индивидуальный характер каждой судьбы, мы хотели сопоставить жизненные пути лиц, подвергшихся депортации, — независимо от того, оказались ли они в лагерях ГУЛАГа или на спецпоселении в Сибири и Средней Азии.

Для этого мы должны были, с одной стороны, реконструировать индивидуальные истории и судьбы, что возможно только с помощью интервью с теми, кто прошел через этот опыт. В то же время нельзя было свести эти истории к набору отдельных рассказов. Поэтому мы постарались сочетать их с письменными источниками, прежде всего, с документами, порожденными репрессивной бюрократической машиной, и многочисленными материалами из местных архивов, которые позволяют изучать управление депортированным населением на местах.

Интервью и архивы

В проекте участвовало 17 исследователей из разных стран², что позволило, в частности, записывать интервью напрямую на родном языке респондентов. В общей сложности было записано 170 интервью на 13 языках

¹ Кравери М. Спасенные депортацией. Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе. URL: <http://museum.gulagmemories.eu/ru/salle/spasennye-deportatsiei>

² Данный проект финансировался Национальным агентством научных исследований Франции (ANR). Его участниками стали: Ален Блюм (Alain Blum, координатор), Марта Кравери (Marta Craveri, координатор) и Валери Нивлон (Valérie Nivelon, координатор, журналистка радиостанции RFI), Мирель Баница (Mirel Banica — Бухарестский университет), Жюльет Дени (Juliette Denis — Университет Paris Ouest / ИНТФ), Катрин Гуссеф (Catherine Gousseff — Центр Марка Блока / CNRS), Мальте Гриссе (Malte Griesse — Бильфельдский университет), Эмилия Кустова (Emilia Koustova — Страсбургский университет), Анн-Мари Лошонци (Anne-Marie Losonczy — EPHE/IRIS), Франсуаз Майер (Françoise Mayer — CEFRES), Юргита Мачулите (Jurgita Mačiulytė — Вильнюсский университет), Агнешка Ниведжал (Ag-

в 17 странах: Беларуси, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Казахстане, Литве, Латвии, Польше, России, Румынии, Словакии, Украине, Франции, Чехии, Эстонии. Респондентами стали лица, депортированные в период с 1939 по 1953 г. с территорий, которые в 1939 г. находились к западу от границ СССР. Часть интервью была записана в России и Казахстане: речь идет о тех, кто после освобождения остался жить в местах ссылки. Присутствие в списке стран Франции, Великобритании и Италии объясняется тем, что после окончания Второй мировой войны часть депортированных эмигрировала. Это были прежде всего евреи, которые потеряли во время Холокоста всю семью, а затем порой и сами стали жертвами антисемитизма, в частности, в послевоенной Польше. Таким образом, мы стремились представить как можно более широкую панораму депортаций, осуществлявшихся на этих территориях, и найти представителей различных волн репрессий и категорий населения. Исходная точка соответствовала, таким образом, четко определенной территории, в то время как «пункт прибытия» (т.е. место, куда в конце концов попали люди, высланные из этих регионов) приходится на гораздо более широкое географическое пространство, от Сибири до Западной Европы¹. Как видим, при таком подходе сознательно игнорируются национальные рамки, учитываются только реальные, а не априорно заданные последствия.

Еще одной задачей проекта было порвать с историей, замыкающейся на депортации; это необходимо для того, чтобы рассматривать депортацию как определенный этап, который накладывает сильнейший отпечаток, но не исчерпывает собой всю жизнь индивида. Очевидно, что использование интервью в качестве главного источника означает, что мы имеем дело с историями тех, кто выжил в депортации; при этом, однако, их судьбы тесно переплетаются с историями погибших еще в ходе депортации, в лагере или на спецпоселении.

В ходе всех интервью мы сочетали ненаправленное интервью с дополнительными вопросами. Мы начинали с того, что просили респондента рассказать о своей жизни; при этом не уточнялось, что нас интересует прежде всего история депортации, хотя респонденты знали, что к ним обратились как к бывшим репрессированным. Находясь, разумеется, в центре всего рассказа, депортация смешивается в их рассказах со сложными историями жизни, важную роль в которых играл как период, предшествовавший аресту, так и годы, последовавшие за освобождением и возвращением (или невозвращением) на родину. В результате на первый план выступает все богатство и разнообразие судеб. Если бюрократическая репрессивная машина способствовала унификации рассказов о депортации, сводя их к нескольким ключевым моделям, выстроенным вокруг момента принудительного перемещения, то освобождение и после-

nieszka Niewiedzial — CERCEC), Изабель Оайон (Isabelle Ohayon — CERCEC/CNRS), Марк Эли (Marc Elie — CERCEC/CNRS). В настоящее время к проекту присоединилось четыре новых исследователя: Антонио Феррара (Antonio Ferrara — Неаполитанский университет), Ирина Чернева (Irina Tcherneva — CERCEC), Любомира Вальчева (Lubomira Valcheva — CERCEC), Элен Мондон (Hélène Mondon — CRECOB / Paris-4).

¹ К сожалению, мы не располагаем свидетельствами тех, кто после освобождения эмигрировал в другие страны, например Израиль или США.

дующая интеграция приводят к тому, что жизненные пути бывших депортированных приобретают самые различные траектории, порой позволяя им вернуться к прошлой жизни, вновь обрести утраченный социальный статус или профессию.

Второй этап интервью заключался в серии дополнительных вопросов из путеводителя, которые позволяли вернуться к уже упомянутым ранее темам или затронуть сюжеты, оставшиеся за рамками рассказа.

Соотношение первой и второй части интервью очень сильно зависело от респондента. Некоторые свидетели пускались в длинный рассказ, обычно развертывавшийся в хронологическом порядке (так, Андрей Озеровский, 1914 г. р., рассказывал о своей жизни в течение пяти часов без перерыва и без малейших вопросов с нашей стороны¹). Другие останавливались спустя несколько минут, и нам приходилось задавать много уточняющих вопросов, чтобы постепенно восстановить историю жизни этого человека. Очевидно, что в подобных случаях роль интервьюера существенно возрастала, и использование таких интервью требует критического подхода с тем, чтобы отделить то, что идет от респондента, от того, что провоцируется, а порой и произносится автором интервью. В первом случае, напротив, необходимо уделять особое внимание построению рассказа и различным переходам, которые делают его связным и логичным, что потенциально может стать препятствием для исследователя². Публикуемые ниже интервью являются примерами таких различных ситуаций.

Наконец, следует отметить еще один важный аспект этого проекта: он охватил прежде всего тех, кто был в период депортации ребенком. Объяснение этому очевидно: в наши дни остается очень мало людей, которые были высланы во взрослом возрасте. Эта особенность влечет за собой два последствия: во-первых, здесь следует учитывать специфику детской памяти, которая, как известно, зачастую сосредоточивается вовсе не на том, что важно для взрослых. Во-вторых, мы слушаем, таким образом, рассказы людей, которые в момент депортации только начинали свои жизненные пути: ссылка не прервала их едва начавшейся траектории, у них оставались перспективы, ведь им предстояло выстроить целую жизнь. Изучение их опыта позволяет увидеть, как подобного рода травма влияет на путь индивида, понять реакции и механизмы выживания, оценить возможности интеграции и масштабы стигматизации.

Параллельно со сбором интервью велась работа по поиску письменных документов, кино- и фотоматериалов, способных отразить различные аспекты, упоминавшиеся выше. Прежде всего речь шла о документах, фотографиях, рисунках из личных архивов респондентов. Все эти материалы очень интересны, но использовать их непросто: фотографии не фиксируют, например, холод или насилие. Чаще всего на таких снимках запечатлены праздники, общение с друзьями, красота окружающей природы. Тем не менее сквозь все эти материалы проступают контуры обще-

¹ Блюм А., Оайон И. Андрей Озеровский. Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе. URL: <http://museum.gulagmemories.eu/ru/salle/andrei-ozеровskii>

² В подобном случае исследователю угрожает то, что Пьер Бурдьё назвал «биографической иллюзией»: Bourdieu P. L'illusion biographique. Actes de la recherche scientifique sociale. 1986. P. 69–72.

го опыта: нищета, тяжелый физический труд — но также и то, что позволяло людям выжить, а затем и выстроить заново свою жизнь.

Наконец, работа в различных архивах, в первую очередь в России, Литве, Латвии и Польше, обеспечила богатые материалы, касающиеся, прежде всего, подготовки репрессивных операций, самого момента депортации и контроля за депортированными в местах ссылки. Они позволяют сопоставить коллективную логику, порождаемую бюрократической машиной, и отдельные человеческие жизни.

Виртуальный музей «Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе»

Одним из результатов этого коллективного проекта стал одноименный виртуальный музей (<http://museum.gulagmemories.eu/ru>)¹. Создавая его, мы стремились сохранить связь между индивидуальными и коллективными историями и сделать возможным многосторонний подход, сочетающий различные ракурсы (коллективное/индивидуальное, репрессии/реконструкция жизни, личный опыт/бюрократия) и виды источников (устные, письменные, иконографические). В результате мы можем сохранить специфику устных источников, воспроизвести письменные документы в их оригинальном виде и сопроводить все это короткими статьями, написанными участниками проекта².

Скрещение индивидуальных историй и общего опыта осуществляется за счет сочетания тематических и биографических залов. Первая категория залов посвящена различным темам, красной нитью проходящим через большинство рассказов о депортации: путь в ссылку³, лес⁴, смерть Сталина⁵, мир женщин⁶, повседневная жизнь⁷. Наравне с фрагментами аудио- и видеозаписей интервью в них используются фотографии из личных архивов, кадры советской кинохроники и другие материалы. Благодаря такому смешению выстраиваются общие истории.

Залы второго типа посвящены отдельным людям. Опираясь на элементы биографии, документы, фрагменты интервью, каждый из них рассказывает о жизни одного человека во всей ее неповторимости.

Два примера интервью

Обычно мы не прибегали к расшифровке интервью, стремясь в максимальной степени сохранить их устный характер, а значит и всю спонтанность и в то же время сложность, неоднозначность рассказа. Здесь,

¹ Отметим также публикацию следующего коллективного труда: Блюм А., Кравери М., Нивлон В. (ред.). *Déportés en URSS. Récits d'Européen sau Goulag*. Paris: Autrement, 2012.

² В рамках музея любой исследователь может предложить новый зал при условии соблюдения ряда общих требований. Такие предложения передаются на рассмотрение редакционной коллегии музея, состоящей из участников проекта.

³ Блюм А. Путь в ссылку. Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе. URL: <http://museum.gulagmemories.eu/ru/salle/put-v-ssylku>

⁴ Дени Ж. Лес. Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе. URL: <http://museum.gulagmemories.eu/ru/salle/les>

⁵ Кравери М. Смерть Сталина. Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе. URL: <http://museum.gulagmemories.eu/ru/salle/smert-stalina>

⁶ Блюм А. Планета женщин? Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе. URL: <http://museum.gulagmemories.eu/ru/salle/planeta-zhenshchin>

⁷ Кустова Э., Мачулите Ю. Повседневная жизнь. Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе. URL: <http://museum.gulagmemories.eu/ru/salle/povsednevnyaya-zhizn>

однако, было решено представить расшифровку двух интервью, позволяющих лучше понять природу используемых нами источников¹. В этих интервью представлены судьбы двух очень разных людей: литовской девочки, в двухлетнем возрасте депортированной вместе с родителями и живущей сегодня в Вильнюсе, и ее соотечественника, который до сих пор живет в Сибири, в нескольких километрах от того места, куда его подростком привезли в 1949 г.

Судьба последнего служит ярким воплощением того, что мы называем «стать советским человеком»²: Антанасу Р.³ было 15 лет, когда 17 марта 1949 г. его семья была выслана. Весь последний год его родители, литовские крестьяне, жили в ожидании ареста из-за того, что один из братьев отца ушел к «лесным братьям». Они неоднократно прятались, но в конце концов были задержаны и вместе с детьми высланы в Иркутскую область. Антанас постепенно приспособился, из простого колхозника превратился в тракториста, а затем шофера, что обеспечило ему и его семье относительно безбедное существование. В результате он остался жить в Сибири и сегодня с гордостью рассказывает о своей трудовой карьере. Его рассказ несет на себе печать традиционного советского дискурса с характерным акцентом на механизации труда и техническом прогрессе как залого коллективного и личного успеха. Воспоминания о страданиях и лишениях перемежаются с упоминанием надежд и успехов. Его судьба свидетельствует также о том, каким нелегким могло оказаться возвращение в родные края: после освобождения Антанас едет в Литву, но, столкнувшись с трудностями, возвращается жить в Сибирь.

Подобно Антанасу Анна Т. была депортирована в 1949 г. вместе с родителями, которые тоже пытались спрятаться и избежать ареста. Ее семья жила в деревне, где занимала, скорее, привилегированное положение: мать Анны была учительницей, отец — ремесленником. Помимо насилия — разлука с родиной и близкими, долгий изнурительный путь, в ходе которого конвой чуть было не выбросил маленькую Анну из окна вагона, приняв ее за мертвую, — депортация означала для этой семьи потерю социального статуса. Трудолюбие отца помогло им выжить и справиться с трудностями. Интересно, что, рассказывая об адаптации, Анна использует иные слова и образы, чем Антанас: она ставит акцент не столько на престиже и востребованности механизированного труда, сколько на идее личной ответственности и компетентности. Мать Анны, однако, не смогла по-настоящему адаптироваться, и как только это стало возможным, семья вернулась в Литву, где родители быстро вернулись к прежним занятиям. В профессиональной карьере Анна следовала той же логике, что двигала ее родителями: она получила высшее образование. Для нее депортация явилась своего рода скобками, драматическим эпизодом, который не прервал социального восхождения, начатого родителями. Оно удивительным образом вписывается в классическую для межвоенной Европы модель карьеры: выходцы из крестьянских семей, получив обра-

¹ Расшифровка интервью приводится в авторской редакции. Максимально сохранены стилистические особенности устной речи.

² Кустова Э. Стать советским человеком.

³ Мы изменили имена и фамилии этих двух респондентов.

зование, затем способствовали социальному восхождению собственных детей.

Итак, эти свидетельства говорят о большом разнообразии жизненных путей. Они учитывают специфику как нарратива о прошлом, так и ведения интервью. В случае Антанаса мы имеем дело с рассказом, который постоянно перемежается вопросами: они были необходимы для того, чтобы прояснить различные этапы его жизни, о которой он всего за несколько минут рассказал в первой части интервью. Порой он отвечал на вопросы очень кратко, как о чем-то само собой разумеющемся, порой — более подробно, возобновляя связный, хронологический рассказ.

Рассказ Анны с самого начала был более подробным и последовательным. Потребность в дополнительных вопросах возникала лишь изредка, чтобы уточнить детали или возобновить рассказ после затянувшейся паузы. Ответы на вопросы, звучавшие во второй части интервью, также были развернутыми и логично встраивались в описание жизни респондента.

Эти интервью рассказывают о жизни лишь двоих среди тысяч депортированных. Мы выбрали именно их, потому что они позволяют увидеть разнообразие судеб, последовавших за этим насильственным перемещением. В качестве примера можно было бы взять украинцев, латышей, эстонцев. Это отнюдь не означает отсутствия существенных различий в судьбах различных национальностей, подвергшихся депортации. Так, особым образом сложилась судьба поляков, депортированных раньше многих других и освобожденных по амнистии уже в 1942 г. Зато лица, высланные с Западной Украины, в течение долгого времени после смерти Сталина подзревались в национализме и потому, возможно, дольше других несли на себе стигмат депортации.

По-разному сложилась судьба, с одной стороны, польских, а с другой — литовских евреев. Первые попали под амнистию 1941 г., а затем в конце войны смогли вернуться в Польшу. Узнав, что все их близкие были уничтожены, и столкнувшись с антисемитизмом, многие из них уехали в Израиль, США, Францию или Великобританию, нередко после недолгого периода пребывания в лагерях для перемещенных лиц. В течение многих десятилетий они не рассказывали о выпавших на их долю испытаниях, так как по сравнению с трагедией Холокоста тяготы переселения казались почти ничтожными. Более того, получалось, что депортация спасла их от гибели¹. Таким образом, им не находилось места в списке жертв². Траектории их перемещений отличаются особенно сложным характером, как об этом свидетельствуют некоторые биографии, представленные в виртуальном музее³.

Вернувшись на родину после депортации, литовские евреи тоже пережили новую трагедию, впервые в полной мере осознав масштабы Холоко-

¹ Кравери М. Спасенные депортацией. Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе. URL: <http://museum.gulagmemories.eu/ru/salle/spasennye-deportatsiei>

² О молчании депортированных других национальностей см.: Ohayon I. Fairesaplaceausilence // Alain Blum, Marta Craveriet, Valérie Nivelon. Déportés en URSS. Récits d'Européens au Goulag. Paris, 2012.

³ Кравери М. Генри Вельш. Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе. URL: <http://museum.gulagmemories.eu/ru/salle/genri-vesch>; Блюм А., Дени Ж. Теодор Шанин. Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе. URL: <http://museum.gulagmemories.eu/ru/salle/teodor-shanin>

ста и убедившись в исчезновении близких. В отличие от польских со-
братьев они в большинстве своем не могли уехать на запад, да и возвра-
щение в Литву стало возможным лишь после 1956 г. Таким образом, на
их долю выпало одновременно и испытание молчанием (как в случае
эмигрировавших на Запад польских евреев), и характерная для советского
общества стигматизация в качестве бывших депортированных.

*Интервью с Антанасом Р., г. Братск, 26 августа 2010 г.; Эмилия Кус-
това и Лариса Салахова в присутствии Алена Блюма.*

— Нас прежде всего интересует история Вашей жизни, начиная с
детства, с первых лет, которые Вы помните, еще, может быть, в Литве.
Вы родились в каком году?

— В 34-м. В школе, помню, я два класса кончил, а потом все — нам
не давали учиться. Из-за чего? Кто побеги делали... В 47-м году нас уже
должны были выселить. Мы сбежали. В 48-м сбежали. А в 49-м с вечера,
прямо днем пришли и сутки нас держали, даже в туалет не давали хо-
дить. И хотя у меня старший брат погиб на фронте. Тогда военкомат
давал такую информацию — нельзя нас было выселять, сын погиб. Ну,
там съездили эти НКВДисты в НКВД-то на лошадях верхом, нас под
ружьями держали. Ну, потом приехали, приказали выселять. Свиной за-
били, коров увезли, сено сгрузили. Нам мешок муки, полмешка муки
дали с собой, и на телегах — на железнодорожный вокзал, и в товарняки
загнали нас там. Ехало нас там где-то семей двадцать в одном вагоне.
Под нарами, на нарах, там деревянные нары такие были, печка такая
кругленькая, угля нам кинут, кипяток, воды где-то. Остановивались,
одного выпустят под ружье, пойдет с ведром, возьмет кипятка, и вот та-
кую рыбину кинут, соленую горбушу, то эту кету — на всех делите там.
И вот так ехали. До Иркутска довели, вывалили нас там. Тут машина
лесной марки, в апреле уже и развезли нас по всей Иркутской области.
По деревням — по распределению там. Такой, такой, такой-то — сюда,
такой, такой — сюда садись. И вот оказались в Жигалове. И там с пер-
вых дней привезли нас: дома пустые, ни окон, ни дверей, как говорится.
Вот тебе, вот тебе. Ну, кто тряпкой, кто бумагой заклеивали сначала.
Потом-то уж, конечно, к зиме дело было следующей-то. Мы уже тогда
маленько поправились, еще потом так, потом привыкли уже так, к этой
жизни. А заставили с первых дней нас — лопаты нам и поля копать.
Маленькие польки такие, тракторов тогда не было, после войны-то. И вот
на эти, на трудодни-то работали. Придешь домой — все горит. Стоит над
тобой комендант: «Что встал? Пошел-пошел». Пришел домой — расписал-
ся. Назавтра опять под роспись всех, и опять пошел. Вот так вот. Ну,
потом, в 57-м году освободили нас. Родители поехали [в Литву], все по-
ехали. Я тоже с ними съездил туда. Ну а там — жить негде, и как-то это
смотришь — и народ уже на тебя как-то и не так [смотрит], как шатает
вот. Я повернулся — и обратно. Тут на МТСах, на тракторах работали.
Да весело было, короче, в Сибири! Привыкли и на охоте, в 16 лет охо-
тился все по тайге, соболей и белок бил, рыбу, ленков этих, хариусов
ловил — речка там, Илка, на Лене. Вот так вот. Потом дети появились.
Выросли, начальную школу там кончили. А куда дальше-то? Район,
50 километров на открытой машине возить, это, их зимой в 40 градусов.

Ну и решили в Братск переехать. В 70-м году переехал. С 70-го года здесь живу. Отработал там 22 года в колхозе и здесь вот, считай, в общем 50 лет трудового стажа.

— А кто с Вами приехал из Литвы тогда? Это родители, Вы?

— Ну, брат был. Старший-то погиб, а нас два брата и родители. Там народу много было — семей нас пятнадцать, наверное, было так. Нет, больше! Ну потом, а там весной, знаете, собираются в Литве, например, тут — [на] маевку эту, маевка такая. Вот соберутся все и поют, это, как на поминках отпевают, там это. Значит, вот как это поют. Так русские все в окна заглядывают: «Что тут такое? Что тут такое-то?». А потом их научили самогонку гнать, этих русских. Ну, в общем, научили их жить как. Вот. Они довольны так были. Не знаю, что больше рассказывать. В Литве мы жили бедно. У нас земли, ничего не было там. Девяносто соток земли было. Одну корову держали, да два поросеночка для себя, вот так вот. Зарботков не было никаких. До города 12 километров. Отец на велосипеде ездил на работу туда.

— А он в городе работал?

— Ну, он-то в городе работал, так это. Вечером домой — утром на работу. А я — то коров пас, то — то, то — это. Учиться — некогда. Я два класса закончил, и все. Знаю, что по-русски преподавали: «Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне?» Слышали такое? Вот такие дела. А когда, вот это, нас выслали-то как политических, отца брат не пошел в эту армию, ну дезертиром ушел в тайгу. Ну, их всех потом, братьев, выселили сюда вот. Отца брат был [из] балаганских, а мы-то в Жигалове, а он [из] балаганских был. Два брата было. Сестер не выселяли. Только братьев. Так вот приходят, ставят отца, печка топится, ставят отца к печке. А тут дрова, поленья. Берет полено это, НКВДисты эти, в красных фуражках этих, берет поленом — раз его по голове, а второй — бах и из этой винтовки стреляет, но не в отца, а в стену прям. Тот не понял — не то удар от полена, не то там от кого. Тот сразу на коленки падает, кровь бежит. Как хотели издевались, НКВДисты эти. И вот так многих, многих, многих людей избивали. И мне попадало. Ну, не знаю я, что вам больше рассказывать такого-то.

— Вот даже о детстве если Вы расскажете, например. Вы помните приход Красной армии, как вообще все началось?

— Войну, что ли? Ну почему же, конечно. Мы в лесу сначала [были], возле дома, у нас было бомбоубежище, накатанные бревна, а мы вот так вот. Вдоль леса дорога была, и кто-то там из наших, ну там недалеких, в общем молодежь, свадьбу делали, и все гулять, ну столы были накрыты на улице... Самолеты налетели и в пух-прах там все разнесли, это самое, ну у меня брат там младший, 39-го года, вылазает че-то из подвала, бомбоубежища этого, и бомбу невзорвавшуюся несет. Отец как закричал, положили, потом взорвали ее. А основное укрывались во время наступления там. Бои страшные... Даже три солдата мы спасли, русских вроде, ну в траншеях-то этих, в окопах они раненые все, поживут у нас маленько, очухаются все — пошел, винтовка у него... Ну че, от части своей отстал, кому он нужен? Один ушел нормально, а второй застрелился, отошел от нас километра полтора, застрелился.

— А Вы их помните?

— Ну как, конечно!

— А Вы с ними говорили тогда по-русски?

— Нет, по-русски мы не говорили. Ну как, там уже даже маячили, а нам, пацанам, нам че, вон, комочек сахара даст или кусочек хлеба, вот такой черный давал, ну так мы уж это, перевязку там, мать придет, перевязку [сделает], он сам знает, что [надо] — йода там, ну так. Собаки их вывозили на тележках. Собака-санитарка, тележка такая. Он вылазает, скажем, может завалиться на эту тележку, санитарка, машина, собака бежит туда, в эту, где пункт ихний собирает, там может сумку расстегнуть, может бинты взять, может перевязываться взять материалы у собаки. И самолет сбросит бочки такие, и они рассыпаются. Идешь — о, расческа, только волос начал чесать, а она взорвалась. Мундштук, подкурю — взорвался. Ниче нельзя было! Коньяки там, вина в окопах валялись и все было отравлено.

— А немцы у вас в деревне стояли, нет?

— Немцы... я бы не сказал так, наверное. Они как эти, там, раньше самогонку гнали, они там, ну как, проверяли эти какие, кто там донес на тебя, например, вот приедут там... ну не сказал бы, они там немцы отнеслись. Неплохо. Вот только, помню, евреев этих привезут, а вот мы рядом с лесом, на лесозаготовке, придут машины две-три здоровые, а они такие в синих плащах и шестигранные звезды на спине, желтые, такие большие, больше этой корочки, шестигранные такие, наклеенные, и под ружье всех. В лесу отработали, скажем, шесть-семь часов, грузят их, а там уже выкопаны траншеи, там от Каунаса недалеко. Первый, второй, третий порт, там это порта такие назывались. Там уже выкопаны, эти, например, которые сегодня в лесу были, их расстреляли, те — закопали партию, их на завтра в лес, другая партия там им копает. И проквасили весь город, ужас было что! Это потом на бензовозе пришли, все полили, залили и сожгли.

— Это Каунас?

— Каунас, Каунас.

— Вы все это сами видели?

— Ну как я не видел? Конечно, я там недалеко жил, бегали мы, че, пацаны-то.

— И жители деревни тоже знали?

— Ну а как? Как же не знали? И эти евреи все знали, что они работают, а вечером их расстреляют.

— А бежать они не пробовали?

— И не снимали, главное дело, ничего с них там, не часы там, а просто вот так пройдут, посмотрят, если кто-то там шевелится — так, стреляет. А так ставит пулемет этот: «Тттттт», — и сыплются все туда. Забрасывают туда, закопают, ну полметра там, может, земли. Ужас что было. Вот я знаю, что немец не любил евреев.

— А бежать не пытались евреи? Такого не было, чтобы в деревню прибегали?

— Ну куда ты убежишь?! Куда ты убежишь? Если уж поймали, значит поймали. Побежишь, сейчас в спину получишь, и все.

— Евреи, которые были, жили у вас, в вашей деревне или они жили в другом месте?

— Нет, их собирали по всей Литве. Только как-то в одну кучу их соберут всех. Они уже там какую-то пользу значат для государства: лес заготовить или окопы, может, там какие-нибудь копать, короче, отработал он — расстреляли, следующих там, по сто человек, скажем, в день. Ужас, ужас было. Как только услышим, пацаны, что пулемет этот стреляет, все, значит, пройдет какое-то время, затихли, бежим туда, но и то боимся, если они там еще не уехали с этого места, да еще нас поймают: «А может ты еврей, ты сбежал!» — пацан или кто там, могут тоже убить. В Каунасе самом ходил в концлагеря, там бетонные стены такие, нары там, много этих, фамилии выбиты. Ужас там, решетки, решетки, подвалы заплесневелись. Ну, вот я когда ездил специально с двоюродным братом, он возил меня туда, посмотрел, где людей там держали, заключенных.

— Ваши родители говорили об этом с Вами, когда происходило это все?

— Как?

— Обсуждали в семье?

— Ну а как? Как же. Как же. Конечно. Мать, ноги у нее больные были, варикоз вен, у меня тоже сейчас, по наследству, говорят, идет. У меня ноги страшные, если я разуюсь сейчас, показать ногу свою, ногито... У меня ноги синие, волдыри повсюду, аж вот до пояса. Горят — ни днем, ни ночью покоя нет. Жить надо. Операцию не делают, нельзя, говорят, поздно. Раньше, когда можно было, так надо работать.

— А когда Красная армия пришла уже в конце войны, по сравнению с немцами как Вы их встречали? Вы были рады?

— Ну! Как сказать? Рад — не рад. Этих угнали, эти пришли. Те были, когда те хозяйничали, теперь эти хозяйничают. Но сразу-то, когда армия русская шла, вроде придут, у колодца умываются, там все это... Ведет быка на веревке солдат, к отцу подходит, говорит: «Хозяин, быка надо тебе?» — «Куда? Так ты, может, у соседа?» — «Нет, я далеко поймал там» — «Так что тебе за этого быка надо?» — «А, восьмушку махорки». А тот махорки отсыпет, этот быка оставляет, и пошел дальше солдат. Ну, если хозяин не объявился, значит, твой бык. А хозяин объявился — отдал быка.

— А Ваш старший брат, значит, погиб на войне?

— На войне. Через две недели призвали, через две недели погиб.

— А в каком году это было?

— Это примерно где-то в сорок четвертом.

— И где, на каком фронте — не знаете?

— Там есть такой город, Побради в Литве. Вот. Мать ездила к нему раз туда, еще живой был. Потом через неделю извещение пришло, что погиб.

— Значит Вам тогда дали бумагу, чтобы Вас не трогали?

— Ну, такой был приказ, значит, кто в армии служит или погиб, тех не выселять. Ну, все тут, они поехали, они, может, даже не доехали.

— Многих из вашей деревни увезли? У вас вообще деревня или хутор был? Большая деревня-то была?

— Ну деревня-то, знаете как, хутора там. Не то что как сейчас колхоз там. Дом там, там, там был. У кого-то много земли, у кого-то девяносто, у кого-то двадцать гектар. Там же тоже кулаки были. Их тоже там кулачили.

— Их раньше, наверное, чем Вас, выселили?

— Кого?

— Кулаков.

— Да нет, если он там как ничего такого против Советской власти, ну так, там позабирали лошадей, землю поотбирали. Коммуну делали там: все межи соединили, трактора пустили, вспахали все. Твоего ничего нету. Осталось вокруг твоего дома вот так вот. И все.

— А Вы говорили, что вы прятались в начале 47-го года?

— Ну как, убегали, прятались...

— Всей семьей? Вы знали, что будут забирать?

— Нас предупреждали уже.

— А кто предупреждал?

— Я не знаю кто. Отец должен был знать кто. Причем он мне об этом не говорил.

— И как было? Вы в лес убегали?

— К другим людям, например, но только к родственникам нельзя было, а к таким — чужим. День-два и все, волна эта прошла, как грибы, вот и все, теперь год. Теперь прислушиваешься, шило-то в мешке не утаишь, так и народ знает. Вот 47-й, 45-й, нет, 46-й, 47-й, 48-й, 49-й год, а в 49-м году вообще много выселили, вообще.

— А вы знали, куда их выселяют?

— Ну куда? В Сибирь! В Сибирь! У меня дядька в Магадане там так и остался — умер. В Магадан [попала] мамина сестра, она приехала [оттуда] без ноги. Приехала и тут уже, в Литве, умерла. Были разбросаны по всей Сибири.

— А Вам сказали, когда депортировали, что в Сибирь? Сразу сказали?

— Нет! Не сказали! В вагоны — и все. Куда везут — мы не знаем. А потом, когда уже едем, скажем, города там, паровозы тогда были, там тогда не было электровозов. Пензу проехали, о! Красноярск будет. О, Иркутск будет! В Иркутске все — разгрузиться. Окружили всех, поезд разгрузили. Машины подошли. Пять-шесть семей в эту машину напихали. Вот и все. А куда повезут — черт его знает... Весна, горы, бездорожье, распутица тут. Ну и привезли нас в Жигалово-то, а там потом трактор пришел и на санях тракторных, сгрузили на эти сани, трактор повез в сторону шестнадцать километров от этой ветки-то, глубже туда — в тайгу, в деревню, а там речка такая — Илга, и вдоль этой речки там эти деревни были. Но там уже деревни, как сейчас вот колхоз, — тридцать дворов, сорок дворов, зависит от того, какая деревня была.

— А что за дома были? Вы сказали, что селили Вас уже в дома. Чьи дома были? Пустые или делили с кем-то?

— Ну, люди тоже побросали, поубежали. Тоже здесь кулачили, раскулачивали вот.

— Их дома?

— Да, да, их дома. Тогда не было такого, чтоб сломать дом. Это сейчас ты уехал — можешь сломать, увезти, перевезти, а тогда нет. В эти дома заселяли.

— А соседи были, уже кто-то жил там на месте?

— Неет! Это пустые дома, но там рядом кто-то живет, рядом-то живет. Но потом соседи... кто молока принесет, кто что, кто картошки нам на семена принесли, картошку посадили, огороды тут.

— То есть помогали?

— Да! А потом стали поросенка держать уже своего, корову купили — стали держать, свое молоко, потом лошадь заимели. Отец с работы пришел, ружье у него в тайге, с работы пришел, мешок берет, лампу, керосинку, топор и ушел. Слышу в часа два-три ночи уже пришел с мясом. Козла или кого-то там убьет, там обделал мясо в мешок — и домой.

— Это уже в первый год было или потом?

— Нет, это года через четыре. Сразу-то неет, там комендатура, ты что! Приезжает комендант этот к нам, бригадир приходит: «Миляускас! На работу!». Он [комендант] окно открывает: «Миляускас не пойдет! Миляускас в моем распоряжении! Миляускас должен стол накрыть, самогонки притащить», — вот. Комендант загулял. Так даже пистолет валялся на столе у него. А потом и комендантов этих убрали уже, ну после смерти Сталина. А до смерти Сталина коменданты были — все на учете были, каждый день отмечались.

— Даже не раз в месяц, а чаще?

— Да.

— А из Литвы Вам ничего, кроме муки, не дали забрать?

— Ничего, нет.

— Нет? Никаких вещей не увезли — ни фотографий, ни чего-либо еще?

— Нет. Ничего не давали. Только штаны мог взять какие-то, а там все конфисковали.

— А вот в деревне, в которую вы приехали, — там люди русские жили или литовцы, которые раньше [приехали]?

— Русские. В основном русские. Татары были. Татары тоже были как сосланные или как. Татар много было. В основном русские такие.

— И Вы в школу пошли или нет?

— Какая школа?! Я говорю, мне сразу лопату в руки — и польки копать. Это пятнадцать лет мне было как раз.

— Вы по-русски говорили уже, наверное?

— Откуда? Ну так это, в школе, я помню, так это. А так-то нет.

— А они по-литовски говорили или нет?

— Нет. Нет. Что нет — то нет. Ну вот так вот, некоторые слова-то, матершинские такие слова. У меня соседка через стенку жила-то, а такой Володя Пешков верхом на лошади подъехал: «Миляускас! Как у них фамилия-то?» Ну, отец как-то назвал по-литовски-то, матом-то, а тот пришел, на лошади подъехал к окну и ей эти слова-то передает, а она кпятка как взяла. Потом она пришла к отцу: «Ты что научил тут?»

— То есть с вами и другие литовцы приехали? А вы дружили потом со всеми — с русскими и литовцами?

— Да. Да. Да и потом у меня отец был бондарь хороший — бочки делал. О! Это были заказы, раньше не было, даже под самогон лагун, такой деревянный лагушок, там-то квашенки, то всякие ушаты — воду таскать, а потом там рыбу принимали: заготовитель приехал — бочки заказал. Потом строительство: скотные дворы отстроили, склады отстроили. О! Литовцы очень, очень, очень трудолюбивые!

— А сколько вас семей литовских было, не помните?

— Семей?

— В одной деревне.

— В одной деревне? Ну, где-то семей тринадцать. Я их даже пофамильно всех знаю.

— Не назовете нам их?

— Могу назвать. Тамашунас, Урбанавичес, три брата их, Селешус, Курапко, Кайрис, Зуеш, ну Миляускас был, Бальчуняне, Макрецяне, Мацанене, ну в основном такие.

— А они там остались жить или, когда можно было вернуться, они вернулись?

— В основном все старые люди [вернулись] — их родина была. А молодежь, молодежь многие оставались. Вот этот вот, Ватуратис, только в соседней деревне жил. Вот так вот. Но мы с ним, я на тракторах работал, а он учетчиком в тракторной бригаде.

— А Вам сколько лет на это время было, когда Вы работали в тракторной бригаде?

— Лет, наверное, девятнадцать. МТС еще были. Колесные трактора со шпорами такие были. Все руки поотбивали, трактористы эти.

— Вам нравилось?

— Конечно, ты чего? Не лопатой копать.

— А брат Ваш там же с Вами жил?

— Он учился, он школу окончил. Отлично кончил он — здорово учился. Но потом так же на прицепе работал прицепщиком. Тогда прицепщики были, а на трактор-то он не успел, а там уже в Литве работал на тракторе. Потом пошли дизеля. Комбайнером работал, трактористом, шофером. С Иркутска комбайны даже пригонял за пятьсот километров. Получим в Иркутске комбайн и гоним, а там по Лене со скалы спуститься и берегом, берегом. Много комбайнов переворачивалось. Но я нормально пригнал.

— А Вы приехали с родителями, братом. Сестер не было у Вас?

— Нет, сестер не было. Брат приезжал сюда. Но брат, видите, как пошел, брат у меня ушел со своей дурной головой. Он начал что-то продавать на рынке, попался, посадили, отсидел срок. Потом второй раз, мало ему показалось этого: домой пришел — давай квартирой своей торговать: «Я продаю квартиру». Приходит [человек] по объявлению: «Ну, буду иметь в виду. Мы задаток вам». И он таких задатков набрал, человек двадцать там — и его опять за хвост и туда. Я приезжал туда, ездил в тюрьму к нему. Оттуда вышел — прилетел сюда, ко мне. На штанах заплатки. Мы его с ног до головы одели, обули, часы купили — все, в общем. Думаю: оставить здесь — начнет мошенничать, опять посадят. Хозяйка говорит: «Он тут концерты давай выстраивать. Ты был бы мой му-

жик — давно убила бы тебя». Ну, [он] и собрался. Поехал я, билеты ему купил — тысяча рублей, это тогда, лет пятнадцать тому назад, это деньги были. Денег дал — и он тут же в аэропорту побежал бутылку купил. Не знаю, до Москвы доехал, не доехал. Приехал туда к двоюродной сестре, она у меня самая любимая, их много братьев, их девять человек у этой сестры-то, и говорит: «Займи мне денег. Контейнер идет в Сибири. “Волгу” машину купил, денег нет выкупить контейнер этот». Но та тоже не дура, берет и мне звонит. Ну, мы частенько так, правда, десять-пятнадцать минут поговорим по сто пятьдесят рублей, слышно отлично, звонит: «Какую такую машину он...» — «Кто тебе сказал?» — «Да вот так и так, Лявас, твой брат» — «Не слушай ты дурака-то». Обломилось ему раз, два там обмануть. И исчез, и уже ни слуху ни духу. Я и розыски подавал по Литве везде — нету. Или сгнил где-то или... кто его знает. Но посадить [могли] на такой срок, ну на десять, на пятнадцать лет, ну, может, в тюрьме умер. Вот так вот. Я остался один. А, у меня еще два брата были старшие. Один залез на грушу, второй на земле тут стоял. Тот оборвался, а тут есть картошку окучивать — тятка, он головой об эту тятку на смерть. А второй заболел — умер. В общем, нас пять братьев было и нету. Один на войне погиб, двое так, этот куда исчез — не знаю. Вспомнишь, конечно, плакать хочется. А что сделать? Жизнь прошла такая, тяжелая. Тут ребята, когда расстались, ну что там на тракторе, все равно в деревне молоко, картошка, речка рядом, рыбу ловил, ружье было, даже два ружья было у меня, карабин. Милиция была под моим... Приезжает, а я тут же самогонку буду гнать, а они: «Давай пробовать», карабин оставляет и: «Вот пойдешь в болото, убьешь лося — позвонишь нам, мы приедем». Я уж потом по всему району — бригадиром тракторной бригады был, потом полеводческой бригады, у меня весь район, все председатели — все были знакомы. Грамоты у меня нету, грамоты нету, а если бы грамотный был... Как один председатель Знаменска, там деревня Знаменска — большой поселок, собрались на партактив там, я не коммунист был, но все равно приглашали, и говорит: «Знаете, мужики, убил медведя, — говорит, — девяносто девять лет», — «Как ты определил-то?», — он говорит: «Когда свежевать стал, в заднем проходе нашел паспорт».

— А друзья у Вас остались, значит, с тех времен?

— Да, да. Но они вот сейчас в деревне. Сейчас поеду туда. Уже не к кому ехать. Единственная у жены двоюродная сестра и очень хорошая женщина — соседка наша из деревни. Остальные поумирали уже, нету. А в деревне-то, знаете, как жить... полы шваброй вот так вот моют, никогда не красят, но сейчас-то люди маленько лучше стали жить, а раньше-то...

— А скажите, когда Вы поселились там, как-то было заметно, что по-разному живут литовцы и русские? Например, одни красят, другие не красят.

— Конечно. Нет. Нам, во-первых, нечего было красить. Отработал, скажем, пять дней, на трудодни работали, отработал пять дней — идешь к кладовщику. У кладовщика вески вот такие вот. Приходишь с мешочком, мешочек тряпочный вот такой, и он как тебя за пять дней, на пять трудодней заработал, на пять трудодней — двести грамм муки овсяной, овес

молотый. Он совочек раз, второй на весы положил — вот тебе, пожалуй-ста. Приносишь овес молотый, там-то отруби такие — мать берет, через сито просеивает, эти отруби заварит, там варили кисель, как его называли — «бурдук» или как там, такой кисель овсяный. Хороший он, мне нравился. А [также были] свекла, картошка, все наместит и [сделает] лепешки — вот хлеб. Потом уже, через два года, мы получили семьдесят килограмм пшеницы за год. Десять копеек на трудодень тогда платили. Потом, когда я стал трактористом-комбайнером работать, мы по восемь, по десять в центнерах, по тонне, по полторы тонны стали получать. Скот стали кормить — свиней, коров, гуся, мельница своя была — мололи. Стали жить, конечно. Тогда и полы можно было покрасить. Я помню, в Литве не было полов деревянных, глиняные были. Глиной оббито, как праздник — песочком посыпают. Праздник прошел — смела этот песок, убрала.

— А в Сибири вы литовские праздники продолжали праздновать?

— А как! Вот 7 ноября, когда литовцы приехали, 7 ноября — праздник труда. Так там стряпух специально по деревне выбирали. Колхоз вставал, забьет мясо, муку. Там стряпали булки, караваи, самогонки нагонят мужики — и в клуб. Клуб здоровый был, в клубе там гуляли.

— А именно литовские праздники, церковные например?

— Но литовские... русские литовские не праздновали.

— А вы со своими?

— А мы со свои... Ну, пригласили меня тут — завтра собираться будем. Приходишь там, столы, не так как у нас сейчас — каждому стакан, тогда у русских было в моде стакан граненый, граненый стакан самогонки, он три стакана чебурыкнул и там... А у литовцев так: рюмочка — и бутылка за ней идет. Я — раз, наливаю, и пошел, и пошел, и пошел по кругу. И мы сидим, скажем, пять-шесть часов — ни в одном глазу — и выпьем больше [, чем] по пол-литра. Сало, закусываем, поют.

— По-литовски?

— По-литовски. Так те по улице все, по округе ходят, слушают. Как-то налили в чайник самогонки и поставили на окно. Как-то они увидели это, а окно-то было приоткрыто — утащили наш чайник с самогонкой, русские-то.

— А в семье Вы по-литовски говорили? С родителями? Или по-русски?

— Нет, мы по-литовски, а вот на работе...

— А вот с другими литовцами?

— Так же, мы можем по-литовски, а можем по-русски, но молодые больше по-русски, но если пожилые или даже я, то мы по-литовски. Я встретился с тобой по-литовски, на работе, пришел на конный двор, скажем, пришел на конный двор и говорю: «Мне надо коня привести». А Иван Кайрис — он конюхом был, ну, у него маленько лицо было парализовано на бок — он мне говорит: «Коня нет, там бык, бери узду и быка там». Пришел за быком-то, а бык-то пропал уже, он не живой. Я говорю: «Что ты мне дал?» — «Как! Он был живой». Вот так вот.

— А уезжать когда стали? В 57-м Ваши родители уехали?

— В 57-м.

— И все литовцы?

— Не все сразу, потому что в Иркутск надо ехать, а все равно какие-то чемоданы, какие-то вещи, надо что-то у кого-то это, Вы понимаете? Ну, три семьи, там на одну машину, машину-то [надо] взять было... Вот сельповский груз привозят с Иркутска в Жигалово. Мы уже узнаем — завтра машины придут в сельпо, разгрузятся, а они уже пустые идут туда. Ну вот, возили так. В Иркутске на вокзале вывалят, мы можем там три-четыре дня сидеть [ждать], когда это поезд [придет].

— А как Вы узнали, что можно уехать?

— Документы пришли. Мы имели право паспорта получить уже. В колхозе, колхозникам русским от нельзя было паспорт получить, а нам паспорта выдали сразу.

— А Вы праздновали?

— Да, да! Конечно! Паспорта получили, а так русские, которые сбегали люди, поймают — вернут.

— Они Вам что говорили? Не завидовали, нет?

— Оставаться просили, плакали некоторые!

— Ну, вы же мальчишки были, у вас уже, наверное, были невесты, плакали девушки, наверное, в основном?

— Считаю, это уже мне двадцать два года было.

— Вы не женаты были, нет?

— Нет. Я поженился в двадцать пять, двадцать шестой год был. А ей девятнадцать.

— А Ваша жена литовка была или русская?

— Русская.

— Из той же деревни? Вы уехали сразу с родителями и братом?

— Ну, приехали мы, понимаете, жить негде, дома нет, ничего нет, ни кровати — ничего. Ну, кровать купили, куда ее ставить? Ну, мы к родственникам — туда, туда, туда. И тут сразу военкомат. В армию. Я и [поехал] в Сибирь обратно. Я тут сразу получил военный билет, меня уже в армию не возьмут, и тогда я женился.

— Сколько Вы пробыли в Литве второй раз? Как вернулись?

— Когда вернулся? Где-то с полгода.

— А они остались, им дом дали или как они остались?

— Никто ничего не дал им. Они у родственников, а потом отец начал строить дом. Ну, дали маленько какую-то ссуду, что ли, кирпич купил да то-другое, нанял людей и строил. Построил, год не прожил и умер, и этот дом ушел в колхоз.

— А мать?

— Мать раньше умерла, года на три раньше отца. Я его звал сюда и мне как раз пенсию надо дорабатывать. Я мог бы даже туда уехать тогда, но мне два года оставалось до пенсии, и ни сюда и ни туда. И там хозяйство, там дом. Как-то получилось так, он там три года пожил.

— Это в каком году было?

— В 83-м, по-моему.

— Когда Вы ехали из Сибири в Литву, Вы сами платили за поезд?

— В Литву, что ли, так как Вам сказать? Отец меня не пускал. Нам показалось, молодые [литовцы] не хотят знаться, [мол, мы] с России приехали, ну или сосланы, бандиты. Ну и получилось так. А тот тоже

поженился. Я ездил всей семьей туда, на самолете. С Жигалова [брат], младший самый, в Иркутске жил. Туда приезжали, так хорошо. Отец уже в дом новый стал заселяться. Так и думал: пенсию заработаю, в Литву вернусь. Но потом, когда СССР распался... Там было проще. Куда в магазин зайдешь, там говорят по-русски, но дело не в этом. По-литовски отвечают, по-русски нет.

В 53-м году, когда Сталин умер, что было, народ весь собирался в клуб, телевизоров-то не было, слушали по радио, плакали все.

— А литовцы тоже плакали?

— Ну, я еще бы тоже не плакал.

— А 7 ноября вы тоже праздновали, или было отторжение?

— Ну почему не праздновали, праздник ведь там, где угощают. Стол, самогонка там. 1 мая — тоже праздник. На работе было — распишись, что придешь на демонстрацию, а не придешь — премиальных лишу. Все ходили, все веселые были, кто с водкой, кто с самогонкой, знакомых встретили. А в деревне, знаете, гуляли как? Самогонки нагоним, десять литров минимум, а самогонный аппарат — в лесу, и на телеге — туда. В очередь вставали.

Утром встаешь, завтракал-не завтракал, уже стучит в окно: «Кто там?» — «Ко мне к двум часам подтягивайтесь». Смотришь — там уже вся деревня. Столы сдвигали. Если кто-то в город съездил — смотри, колбаса! Огурцы с Иркутского. По стакану, по второму, по третьему — давайте в зал, там гармошка уже играет, а столы подобрали, почистили, второй заход садят. Три может застолья получится, как народ придет. Вот так два-три дома пройдем, назавтра опять. И так пока всю деревню до конца месяца не дойдем. Следующий месяц с другого конца начинается. Хорошо было. Мне нравилось тогда.

— А в какие это годы было, застолье с колбасой?

— Это уже в 69–67-м, вот так, в 60-е годы. А когда литовцы здесь были — не было такого массового гулянья. Они где-то одни гуляли, а потом уже как-то и их объединило.

— Вы, когда приехали, не видели этих праздников?

— Нет-нет, через года два-три, когда 7 ноября, в клубе все готовятся, с этого все и началось. А литовцы 1 мая все отпевали, на маевку собирались.

— А до какого времени литовцы праздновали свои праздники отдельно?

— Ну маевка, неделю ходили они отдельно, ну а какие там праздники литовские — я не знаю. Пасха там была. Яйца там красили, она не совпадала с русской. Она на неделю бывает позже или раньше там. Рождество было, Крещение. Вера у нас такая, католики. Мать все праздники знала. У нее была книжка.

— То есть она их знала?

— А потом нам присылали книжки. Потом нам посылки разрешали, сало там.

— А когда разрешали?

— Уже после смерти Сталина. Даже при Сталине разрешали. Только проверяли, чтоб ничего такого.

— Вот в конце войны были самолеты с расческами взрывающимися. Это чьи были самолеты?

— Русские. Немцы только успевали, бежали. Русские самолеты как заметили там народ, сборка там, бомбили сразу. Они не разбирали с воздуха. Бомбили все.

— А пакеты сбрасывали с расческами взрывающимися?

— Это немецкие. Да, это немецкие.

— А когда солдат Вы спасали, это было в начале войны или в конце?

— Нет, в конце войны. Когда Германия наступала на Советский Союз, они Литву не прихватили. А когда в конце войны они шли через Польшу, обратно немца гнали, тогда уже и Литве досталось. Много-много хуторов сгорело. Труба стоит там, труба стоит там.

— А партизаны были вокруг деревни у вас в лесах?

— Во время войны — я не знаю.

— А после войны, против советских?

— Были, были. Приходят, скажем, ночью, все вооруженные, автоматы по углам расставили, давай жрать. На стол им наготовили, а вдруг сейчас — русские? Отец стоит у окна, курит. Далеко видно огоньки, идут партизаны. Наш дом стоит, дорога и лес. Сколько раз получалась стычка. Они, у этих бандитов в партизанах был, тут приехала эта облава, они выбежать не успевают, начинают стрельбу, по 2–3 часа палили. А потом собирают этих раненых, убитых. И деревню эту [приказывают] километров на пять всю — сослать.

— А брат Ваш или отца? Вы думаете, что из-за него сослали?

— Нет, отца брат.

— А его потом тоже сослали или его не поймали?

— Убили его! Он погиб. Убили его, когда мы уже в Сибири были.

— Вас сослали, а он живой остался там?

— Живой, живой был там.

— А вас предупредили, семью предупредили, хотя бы за день, что вы будете уезжать?

— Никто не предупреждал! Никто не ожидал! Вот пришли, скажем, четыре человека вооруженных: «Так! Все на месте? Не ходить, не выходить». Ну вот только до туалета — с тобой сходил один и обратно домой. Сутки держали нас. Ни корова не доена — ничего. Только когда они ездили в Каунас, в военкомат или куда они там ездили еще, узнавать — как можно или нет? А потом дело уже к вечеру — погрузили и увезли на телегах нас. Там товарняк стоит. Скот возили в этих вагонах, вот нас везли в деревянных вагонах этих.

— И вот так стояли солдаты в каждом доме в вашей деревне?

— Да. Которых выселяли, у них же списки были, кого [брат]. Вот пришли, например, нас, отца брата второго, недалеко так жил, того, того, того — семей двадцать, может быть, поблизости в округе. И все, повезли нас на станцию — погрузили в вагоны товарные. Сутки там еще просидели.

— А потом в разные деревни селили? С вашими соседями по Литве Вы потом виделись или нет? Или в разных совсем местах в Сибири оказались?

— В разных местах. Два брата вместе не пускали. Вот два брата вместе ехали в поезде, к друг другу — нет. Здесь, в Иркутске, того в Балаганск, а нас в Жигалово.

— А вот Вы не в самом Жигалово жили?

— Нет, нет. Жигаловский район у нас. А деревня Чичек.

— Она и сейчас жива?

— По Илге. Там Илга есть, речка такая, и она вдоль по Илге.

— А в Литве в какой деревне жили?

— Вичас. Ну вот у меня на метриках тут написано.

— Вы там и родились и жили?

— Там родился. Но мы сначала-то жили, я помню, отец когда женился, ну в смысле у него квартиры не было. Тут уже я родился, мне уже года два-три было, я это уже помню, три, на квартире сначала у одной сестры, потом у другой сестры. Пока построили свою конуру, вот этот вот домик-то. А потом уже заселились в эту. Но деревня-то все равно одна была — Вичас.

— Причем очень близко к Каунасу находилась, да?

— Ну, до Каунаса где-то четырнадцать-двенадцать километров.

— А Ваш отец — он был рабочим или нет?

— Рабочим.

— То есть хозяйство у него было сельское подсобное?

— Нет, ничего у нас такого не было. Он работал то на заводе, то картошку садили сами. Помню, полгектара пшеницы или ржи сеяли — скоту-то надо.

— А в Иркутск когда вас привезли, поезда остановились на вокзале центральном?

— Да, да. Прямо на площади!

— Возле этого центрального вокзала?

— Да. Прямо как... Вот Вы в Иркутске бывали, наверное? И вот выйдешь с поезда, там через тоннели переходишь, а тут вот площадь такая, где машины, вот на эту площадь свалили нас. Там такие горы были шмоток-то. Навалили, навалили, потом машины подъезжали — и грузить. Погрузили нас пять семей, скажем, в открытые машины, а холодно все равно было.

— А какое время это было?

— Где-то 19-е апреля.

— А вот тракт, по которому вас повезли, Качугский тракт...

— А нас не по Качугскому, а по Балаганскому.

— Через Балаганск?

— Да, да. Через Балаганск.

— Он же очень тяжелый.

— Тогда же он еще не затоплен был. В Балаганске на Тыпту, на Балыкту.

— Тяжелая дорога. Очень плохая дорога.

— О, там одни ухабы, грязно. Днем-то подтает, а ночью подмерзнет — они ночью в основном едут. А мы еще на открытых машинах этих — не укрыться, тряпками голову закрывали.

— А одежды у вас почти не было?

— Нет. Три селедки дадут нам на семью, вот такие ржавые, и булочку хлеба, и мы три дня ехали до Жигалова-то. Там в пятистах километрах, три дня ехали.

— А где ночевали?

— Прямо в машине, машина встала и все.

— На холоде?

— Да, ну а как? А кто куда? А потом привезли — Закара, есть такая деревня. До Жигалова еще девятнадцать километров. В Закару эту нас грузили, я первый раз увидел, верблюды там еще были.

— А почему ночью, чтоб не видели люди?

— Нет, днем подтаивает — буксуют машины. Как замерзнет эта корка — так машины тогда идут ночью. А днем они могут свалиться в овраг — вытаскивать, вот так сидишь на машине — смотришь, сзади машин пятнадцать идет, ночью фарами светят. Потом, когда в Закару нас привезли, свалили, потом уж покупатель или кто это, или продавцы это: «Такой-то!» — фамилия — «Я!» — «Такой-то!» — «Я!». Трактор стоит с санями, деревянные сани, длинные такие, на сани нас там сгрузят и повезли. Эти — по этой ветке, вот мы — по Илге сюда. Дальше нашей деревни не было переселенцев. Дальше шли Куйтун, Бутырино, Тимошино — я их всех там знаю, там не было, мы крайние были.

— А в каких еще, кроме Чичека, деревнях литовцы были?

— Качень. Качень ближе сюда. Тыпта, Балыкта, Закара, Знаменка, Нижняя Слобода, там очень-очень много.

— А скажите, после того как вас привезли туда, после туда еще привозили депортированных?

— Нет. Нет. Мы последние в 49-м году были.

— То есть других народов тоже не привозили?

— Туда приезжали с Украины к нам, вербованные. Посылали туда представителей вербовать.

— Это потом?

— Это потом, после нас уже, это где-то в 48–49-м, вот так где-то. Нет, нет, вру! Где-то в 52–53-м, вот так.

— А вот немцы во время войны, еще до вас, получается, были на линиях?

— Ну, я бы не сказал. Я их и не знал. Знал, в форме какой они, знал, где проезжают они, скажем, на лошадях там пять-шесть человек, по деревням проедут.

— А, это у вас там, в Литве. А вот были немцы поволжские, которые были депортированы...

— А, здесь нет! Не было их. Татары были.

— Татары у вас были депортированные?

— Были. Татары были.

— А бандеровцы?

— Это Украина-то? Тоже были.

— И в вашей деревне были?

— Были, были.

— А они остались после войны или нет?

— Они поумирали многие. Мы приехали, они уже пожилые люди, и они переехали как в район, в Жигалово. В деревне там было тридцать

два дома в нашей деревне. А сейчас — один остался, одни колы, дворы. Вот сейчас на поезде едешь и посмотришь на Казахстан — одни элеваторы стоят эти, которые хлеб сушат, больше ничего и куча металлолома. Я в Литву приехал и тоже так же: тогда все было вспахано, посеяно и посажено, а сейчас полоса вспахана — поле все не пахано. Все бурьяном, все заросло! Там уже грибы собирают! Вот я приехал в Жигалово — там выше потолка лес! Грибы собирают, а были поля, которые я пахал-то. А в Литве то же самое. Имел там маленько что-то — взял земли, лошади там если у него были, а если у меня нет ничего, что я, лопатой, что ли? Только можно картошку посадить, и то проблема была.

— Вы помните точную дату, когда Вас из Литвы выслали?

— Точно не помню, где-то в марте, где-то 19-го или 17-го, но в марте, марте.

— А сколько продлилась на поезде дорога?

— Сколько дней ехали? Ну, где-то дней восемь до Иркутска.

— Не больше?

— Даже, может, больше.

— Мужчины, женщины все вместе ехали?

— Все вместе.

— А туалет как?

— Ведро. В окно.

— А вши были?

— Конечно, у кого-то были. У многих даже были. Начнешь чесать — вот вошь.

— Что-то делали? Как боролись с ними?

— А как с ними бороться, когда нет воды мыться? Что ты можешь сделать-то? Вот кипятку принес, выпустил с вагона старшего какого-то, так его сводили, ведро кипятка принес всем по кружечке — все, и вся вода.

— И ничего уже не сделаешь?

— Ничего. Вот открыли вагон вот так вот, бросили вот такую рыбину — делите.

— Это солдаты принесли?

— Да.

— А мука была у вас в поезде?

— Нет, муку полмешка мы еще привезли с собой.

— Первое время была..

— Оттуда когда мы ехали — полмешка было.

— Потом вам еду какую-то сразу выдали, когда вы приехали, или соседи помогли?

— Ну, как вам сказать? Там картошка не чищена, свеклу кто принес.

— То есть сначала люди помогли?

— Конечно. Молоко давали, потом стали уже рыбу ловить, нас учили.

— Я хотела у Вас спросить, поскольку совсем другой климат, жизнь другая, местные люди как-то сразу вам объясняли, что, например, сеять надо в такой момент, а не раньше, потому что еще заморозки — такие знания [давали], которые местные люди знают, то есть они учили вас, как прожить, как выжить?

— Нет, нет! Наоборот — литовцы их учили. Они мясо-то не ели, а когда литовцы сказали, как сало делать, как поросенка вырастить хорошего, как масло сделать...

— А пельмени тоже литовцы учили делать?

— Нет, пельмени — это русская еда.

— То есть местное население хорошо охотилось и приносило дикого зверя?

— Да.

— А домашний скот — не очень разводили, кроме коров, то есть свиней не сильно растили там?

— Нет, нет. Свинью надо кормить, а чем? Если он десять ведер картошки накопал, что — свинью кормить? Зерна нет, муки нет — ничего нет. Работаем на трудодни-то, получил муки, скажем пятьсот грамм, принес матери, что хочешь — то и делай.

— Лучше было ходить на охоту и на рыбалку, да?

— Так на охоту и на рыбалку сразу не пошли, нам же комендант ружье давал под роспись — вдруг кто узнает, что ружье... а мы втихую так это.

— А где Ваш папа взял ружье?

— Первое ружье сосед дал. Он работал пастухом ночью — лошадей пас ночью, а там кругом волки были, стаи волков. День и ночь воют волки. Так вот охранять этих лошадей — ружье дали, и даже знал председатель сельского совета. Вот это первое ружье. А второе купили в магазине, в магазине тогда продавали, затворка тридцать второго калибра. Купили в магазине, так вот пришел, какой-то праздник был в клубе. Приехал милиционер, Крикунов: «Где у вас тут самогонка?» — «Да вот, у Миляускаса тут самогонка». Он пришел, обыск давай делать. Нашел это ружье. Забрал. В клуб пришел, а тут мужики пистолет у него забрали, он тоже хлебнул, у него пистолет отобрали. «Вот отдашь мне ружье — тебе отдадут», — вот так ружье отдали.

— То есть получается, что люди в деревне понимали, что литовцы не виноваты...

— Ну так, стало быть, так.

— И друг другу помогали.

— Да. Друг за друга были. Вот 60-й — 65-й [годы] — все к нам обращались за помощью. Я охотился, шестнадцать лет по тайге ходил, у меня ружья были нарезные. Милиция меня знала, все знали, у меня разрешения были на эти ружья. Вот уйду — шестнадцать дней, семнадцать дней в тайге прохожу.

— То есть это еще до смерти Сталина, в 50-х годах...

— Нет. В 50-м — нет. В 53-м году — нет. После 60-х годов уже.

— То есть с шестнадцати лет Вы в тайге, а в 60-м году уже ружья свои имели?

— О, у меня... я тогда разрешение через милицию брал. Я пушнину сдавал — заготовитель. Он приезжает, мы заключаем договор. Он мне провиант, патроны там, порох, дров дает. Осенью приезжает, после охоты выходим, несем ему пушнину. Что мне надо, я себе оставлял. Если я заключил, что сто пятьдесят белок с ним, сто пятьдесят сдать шкуру, я

приношу ему, сто пятьдесят сдал. Ну два-три соболя, а я убил, скажем, десять их. А тогда с сетями вообще тогда плохо было, иркутяне приезжали специально по деревням, вот как сейчас ездят, мясо закупают, приезжают иркутяне — вот соболя им надо, на шапку соболя. Ну я ему — соболя, а он мне — куклу эту дает на сеть.

— А после смерти Сталина вам никогда больше не говорили, что вам чего-то нельзя из-за того, что вы литовцы?

— Никто ничего не говорил. У нас никаких запретов не было.

— А вот Вы говорите, что в Литве ваша семья была бедная и когда Вы приехали сюда, уже через несколько лет, когда Вы на охоту стали ходить, когда на комбайне стали работать, то есть перед тем, как Ваши родители уехали в 57-м, Вы жили хуже, чем в Литве, или все-таки лучше?

— Нет, я здесь лучше жил. Я вошел в колею, мне всего хватало. А там [отец] начал строить все с начала, а годы-то — он шестого года рождения, мать и он. Это в 57-м, это ему 51 год был. Он еще в аварию попал, машина его сбила, у него горб сильно рос на спине, а у матери ноги сильно болели, ее тоже увезли в больницу — воспаление где-то, простудилась, ночью пить захотела в больнице, а воды нигде нет, она пощупала — цветы были залиты водой, а она попила оттуда и отравилась.

— То есть получается, что литовский мальчик очень хорошо прижился здесь в Сибири, да?

— Если не лениться, почему нет...

— А родители хотели, чтобы Вы остались в Литве, или они говорили Вам что-нибудь, например, что Вы литовец и должны жить в Литве, как Вы это решали?

— Я им помог там маленько благоустроиться. Кровати там купили, на себе принесли. Я собрался и поехал. Мне тогда пятьсот рублей денег было. И я приехал с Иркутска — ни рубля не было. А еще пятьсот километров, так я на попутных машинах. До куда доеду — потом опять голосую. А зима, я в ботинках — да доехал, ничего.

— Как Вас приняли назад в деревню?

— Нормально. Мне сразу новый трактор дали с иголку. Я в почете был. У меня, знаете, сколько почетных грамот было? В Братске строили — так я два раза на Доске почета был.

— А Вы в каком году приехали работать в Братск?

— В 70-м.

— А кем?

— Я сначала работал на бульдозере, на бурилке, бурильные машины в городе вез — бурили сваи под дома, потом на бульдозере.

— А как Вы со своей будущей женой познакомились?

— Ну как — в одной деревне. Ну как знакомятся?

— Вы же в школе не учились, а она училась в школе.

— Она в школе училась. Я познакомился где-то в 57-м году где-то, ну просто дружить стали так.

— Вы в клубе на танцах или как?

— В деревне посиделки собирались.

— На полянке?

— Да. Вечером после работы где-то собирались: или у клуба, или в клубе, или там где-то на полянке, то в мяч играть, то... всякие тогда были игры, где гармошка играет. Народ дружный был, в телогрейках все были. Не было тогда никакой красной тряпки — под гармошку плясали, под гитару, под балалайку...

— А когда Вы предложили замуж выйти?

— Ну, вот сейчас передачу смотрите «Давай поженимся»...

— Ну, она значительно была Вас моложе.

— На пять лет.

— За ней же другие парни ухаживали? Ну, как-то Вы ее убедили?

— Ну а что? Сошлись с одним чемоданом, а утром уже вдвоем вышли.

— То есть свадьбы не было?

— Потом свадьба была. Так две деревни во время свадьбы-то на берегу речки-то фотографировались. Ну, деревня собиралась — самогонки нагнала.

— То есть сначала Вы предложили ей вместе жить, а потом уже перед всей деревней объявили, что вы муж и жена...

— Ну так как, все равно мы... платье там шила, готовилась. Посадили нас за стол.

— А родители Ваши уже в Литве были тогда?

— Конечно, в Литве.

— Она была крещеной?

— Она крещеная. В свое верит.

— Какие-то обряды религиозные... Получается, она православная и [Вы] католик в семье — но Вы не соблюдаете обряды религиозные?

— Ну как, я не различал вообще — католик или православный. Я знаю только, что за войну там с сестрой или с кем говорю: «Ну как вы там Рождество [отмечаете]?» У нас, скажем, родительский день здесь весной, а там осенью.

— А на кладбище когда людей уносили, обычаи захоронения разные были с местным населением?

— Только крест разный и все. А православным какую-то тумбочку или что это ставят, а католикам крест ставили. И ставили русским, скажем, в ногах, а крест с головы ставится.

— А молитвы читали, когда хоронили?

— Читали очень долго. Вот когда у меня мать хоронили в Литве, я приезжал, когда отца. Вот тогда русских-то не было, а сейчас приглашают батюшку, попа там какого-то.

— Вот в то время, когда Вы жили в ссылке, религиозные традиции не соблюдались: захоронение, отпевание, только в самом обряде захоронения?

— Нет. Вот когда я ездил хоронить мать, так она была вся в цветах, а здесь одни венки вокруг гроба. Когда несут гроб, несут его сверху, там ставят на постаменте в церкви, почти всю ночь отпевают, старики соберутся, потом чай попьют. А назад несут на руках, у нас церковь была недалеко, там — на постамент, поп отпевает, народу много собирается. Я, конечно, знал, а она приехала, дочь приехала, им, конечно, дико каза-

лось, то и дело на коленки встают, крестятся. А сейчас-то уже совсем другое.

— А литовцев в селе, когда еще [их] много было, когда еще не уехали, много умирало? А как вы родительский день отмечали?

— Ну, у меня тут никого нет. А у нее родители, вместе идем на кладбище. Если приехал я туда, опять же вместе идем.

— А Рождество Вы здесь праздновали 25-го, а русские — 7-го?

— Ну, Новый год только совпадает, а Рождество, Пасха, Крещение не совпадает никак: или раньше, или позже на неделю.

— Вот те люди, которые забирали вас и держали сутки в деревне, они были кто?

— НКВД.

— Они были литовцы или русские?

— Нет, даже и литовцы могли быть, они по-литовски тоже разговаривали.

— А когда Вы уже здесь были, Вы говорили, нквдешники [были].

— Там был начальник НКВД, я его как сейчас помню, Миклиос его фамилия, который приказывал нас выселить. Литовец, он там был в Литве. А когда прибыли в Сибирь, здесь комендант был русский.

— А где били отца по голове поленом, в Сибири?

— Там. Здесь, в Сибири, никто не бил. Здесь отец говорил: «Я отдыхал здесь». Потому что лег спать, и никто не придет. А там — не те, так другие ломались. И всю ночь переживает. Ночью слышит выстрел, а куда пойдешь? Мечется в окно, второй выстрел, утром встали — поросенка нету, и сена нету, половину увезли. Мать утром встала — а сено по дороге насыпалось, насыпалось. Она по нему дошла до городишка соседнего, дошла до двора, где сено-то, и хозяин выходит с мясом, кишки выносит. Там потом какие угрозы были-то. Она пожаловалась. Они привезли мясо какое-то, не понятно что, кинули, и какие угрозы были — еще ноги протянешь.

— Свои же были, литовцы?

— Ну а кто же? Может, совместно с русскими.

— Представители власти?

— Какие тогда представители были? Отец говорил: «Я здесь отдыхаю, спокойно, хорошо, а там всю ночь не спишь, ждешь, кто-то да придет».

— А 1953-м году Вы сразу почувствовали, что стало легче, что-то изменилось?

— Нет, нас только в 1957-м году депортировали, а комендант после смерти Сталина не стал нас проверять. Потом, когда указ вышел, приехал представитель из района, из комендатуры, и сказал: «Получайте паспорта, вы — освобожденные, кто хочет — может жить здесь, кто хочет — может ехать домой». Вот и все.

— А скажите, все литовцы, что с Вами приехали, все выжили, не было, чтобы кто-то умер?

— Я знаю, сколько нас было человек, с 49-го по 53-й год умерло шесть человек.

— От болезней или от старости?

— От болезней, от простуды, от недоедания.

— А всего, Вы сказали, десять-двенадцать семей?

— Где-то так, где-то даже больше. Обувались как надо, разматывали простые мешки, наматывали, ни валенок, ничего не было. И ездили за дровами. Мне было двадцать два года — я первые дерматиновые сапоги купил. В двадцать три года велосипед купил.

— А ходили-то в ичигах, в чирках?

— В чирках, в ичигах, для охоты бокале шили, называли их поняшки. Это обувь была местная. Прошвы такие шили. Когда [на] снег наступашь, ногу вынимаешь, кожа не трется, как бы прошва — след больше делается.

— А в чирках ходили сразу?

— Да, я на охоту ходил, легко, хорошо. Сена в лесу нарвешь, насушишь, стельки положишь, обвяжешь оборки, и все — идешь, суконные брюки, шинель обрезанная, пояс. А поняшки делали на спине.

— А вот чирки, их кто-то шить должен был?

— Сами шили, кожу бычьёю сами выделывали.

— Этому научили вас местные, а Вы-то приехали в какой обуви?

— Их называли колодки, деревянные были. По-литовски клумпис.

— И в них было неудобно?

— Удобно, в них никогда ноги не болели.

— Но в Сибири в них холодно было?

— Дерево, когда сухое, в них не холодно.

— А что же вы не научили местных жителей в них ходить?

— Они удивлялись на наши клумписы, а мы удивлялись на их чирки и ичиги.

— А деревянную обувь из какого дерева делали?

— Там, на западе, делали из ольхи, а здесь — из осины, а она легонька была.

— То есть здесь тоже делали деревянную обувь?

— Делали, но два года — и их уже нету. Сделал, кожей обтянул, покрасил. Сейчас интересно было бы посмотреть.

— А Вы помните как делать?

— Ну а как? Я не раз делал.

— А дома когда вы жили, мама ткацкий станок поставила?

— Нет, тут не было. Были у старух, половички ткали. Там, на западе, со льна ткали ткани. Но у нас не было станка.

Интервью с Анной Т., Вильнюс, июнь 2011 г.; Ален Блюм и Эмилия Кустова.

— Добрый день. Спасибо большое, что Вы согласились встретиться с нами. Не могли бы Вы рассказать о своем детстве, о своей семье и о том, как Вы оказались в ссылке?

— Я просто не могла не попасть туда, потому что моих родителей включили в список в 1949-м году. В 1948-м даже, но в 1948-м им удалось скрыться и на один год они избежали ссылки. Это, пожалуй, для меня было хорошо, потому что у меня был еще год расти. Нас вывезли в 1949-м, когда мне было два года и несколько месяцев. Это было страшное потрясение для моих родителей, которые до этого были очень любимыми

и уважаемыми людьми в округе. Моя мама была учительницей, она руководила маленькой начальной школой в деревне, а отец, хоть он и был, можно сказать, фермером, но он еще притом был очень способным ремесленником. И для всех, кому надо было что-то сделать по кузнечному и по деревянному делу, он всегда помогал. Они были популярными, поэтому их, наверное, предупредили. В 1949-м году они уже устроились в другом районном городе на работу: мама там учительствовала, потому что учителей очень не хватало, многих вывезли. А папа работал на стройке и он уже считал, что раз он сейчас пролетарий, то все в порядке. На самом деле, к сожалению, нас, видимо, нашли. Папа говорит, он идет с работы домой и видит, что около нашего дома стоит грузовик, вокруг шныряют люди в военной-полувоенной одежде и он думает: «А может, одну женщину с тремя маленькими дочками не тронут, если я не приду?» Но потом подумал: «Нет, а если их одних увезут, они же пропадут без меня» — и пришел, конечно. В общем, был такой эпизод еще: когда нас собирали там, все хватало, грабили страшно. Там были люди, которых у нас называют «истребителями», и это было никак не комплимент. С ними какие-то пьяные девки были, они дрались из-за маминой одежды. Мама у меня любила хорошо одеваться. Они топтали альбомы, выбрасывали вещи, все разбрасывали и все время угрожали маме и папе, что вот мы вас сейчас вывезем, прострелю я вас. Мама говорит, один русский мальчик, солдатик, был один с ними, видимо, молодой, взятый в армию только недавно. Он ходил сзади за мамой и все время говорил: «Не бойтесь, не бойтесь, вы будете жить, возьмите вещи теплые для детей, возьмите пищу, жить будете». Мама плохо говорила по-русски, она знала немецкий и в какой-то степени французский после окончания института, но это она понимала. И вот она думала: «Вот, пожалуйста, чужой человек какой, и какие наши местные — грубые, пьяные, вредные». И притом они нашли флаг, литовский трехцветный флаг. Среди вещей там копались, нашли и опять закричали: «Ага! Ты собралась поднимать!» — опять на маму, конечно. «Это ты там в сговоре с кем-то, скажи, с кем ты там собиралась, когда это ты собиралась?» Маму ставят к стенке, говорят, что сейчас расстреляют. Она говорит, что уже мысленно молиться начала. Посмотрела вдруг на нас троих: я самая маленькая, 2 года, другая сестра — 9 лет, старшей — 12. У мамы мелькнула хорошая мысль. Она сказала: «Послушайте, это же хороший материал, шерстяной. Для моей маленькой девочки ведь материала в магазинах нет, вот я думала, для нее юбочку сделаю». Они оглянулись на нас, и, видимо, человеческое что-то было, оставили маму в покое. Потом загрузили вагоны и увезли. Там мамыны ученики, пока нас [не] вывезли, растроганные, приносили маме какие-то сушки, [передавали] через проволоку. Держали нас за проволокой какое-то время, пока собирали контингент. Одна папина родственница даже свинью заколола и что-то успела приготовить и притащила продукты. Но это все охранники забрали, только кусок сала оставили, который я сосала всю дорогу. Потом нас кормили очень плохо, какую-то бузу давали, называлась «щи», но там один капустный лист плавал в воде и ничего питательного там не было. Один раз я заболела сильно и в какой-то момент я стала как будто мертвой, то есть холодной, но не окоченевшей, поэтому думали, что еще что-

то живое во мне есть. Дыхание не слышали, и без аппаратуры же ничего там не понятно было. Это было несколько дней. Пришел охранник, говорит: «Это трупик, он тут завоняет, его надо выбросить, а то вы тут все заболаете». А мой папа, который был очень сильным физически, он был крупного телосложения до самой старости, у него были очень большие руки и широкие плечи. В первый раз он встал и выпрямился. Этот солдатик ему по плечо стал. И папа сказал: «Этого ребенка вы сможете выбросить только вместе со мной. Мы не уверены, что она мертвая, пускай доктор посмотрит. Если докажет, скажет, что мертвая, тогда я сам ее похороню и везите нас куда хотите. Но это вам ребенок, а не котенок и не какой-нибудь собачонок». Для охранника мы были как фашисты, бандиты, чужие, но все-таки что-то человеческое в нем было, и связываться с таким, как мой отец, [он] не хотел. Он ничего не сказал, повернулся, ушел и на следующей стоянке привел доктора из другого вагона. Это был молодой, тоже арестованный, ссыльный, но у него с собой даже препараты были. Доктора — это уже другая категория, они всюду нужны. Он, видимо, помогал лесным братьям или что-то такое, а может, это только подозревали. Во всяком случае, он занялся мною, сказал, что я еще живая, и даже сделал какой-то укол. Мне становилось лучше. Через день после этого нас загрузили на корабль, там был чистый воздух, давали более или менее нормальную пищу. Нас везли по реке Лене вверх, потом повернули в реку Витим, на северо-восток от Байкала, туда, где находятся золотые прииски, рядом с городом Бодайбо. Там нас разгрузили. Этот врач опять спас нашу семью, он обнаружил, что моей средней сестре нужна операция, у нее был приступ аппендицита. Он понял, что было бы, если бы нас вывезли, как других, на прииски или на солевые копи или выбросили в лесу, чтобы сами строили землянки, пищу могли привезти или не привезти. Нам повезло, что нас оставили, мы всю эту партию разбросали как-то. Потом выяснили, что папа мой мастер и умеет делать разные вещи, кто-то сказал, что им нужны плотники. Я помню, что у него первая работа была — он делал клетки для соболей. Их вывозили и где-то в тайге выпускали, чтобы размножались, поэтому у него в кармане всегда много было кедровых орешек.

— Какого числа и месяца вас вывезли?

— Точно я не помню, где-то весной, около Пасхи. Мое одно из первых детских воспоминаний, это то, что я как будто прихожу в себя из глубокого сна, и мы находимся в очень странном месте. Это был заброшенный клуб, лестница, которая вела на сцену, поломанный пол, везде лазали кошки. Мне это сильно запомнилось. Говорят, нас там поселили только на первые несколько дней еще в самом начале, а потом уже расселили по баракам. В бараках люди развешивали тряпки, чтобы отделиться друг от друга, как в купе. Там мой папа очень заболел. Что с ним было — не ясно, но у него был страшный жар. Мама говорит, что это, скорей всего, от тоски, от такого тяжелого положения, унижения. Мы были не богатыми, но все же что-то имели, не были крепостными. Дедушка был очень гордый, говорят. Я его не помню, он умер, когда мы были в Сибири. Он уже тоже вроде бы умирал. Дома было пусто, денег не было, мы все были полуголодные, в страшном состоянии, опять тот же

врач пришел навестить сестру, увидел папу в этом положении, дал каких-то денег, лекарства. А через несколько дней пришел перевод от папиной сестры, единственной из всего рода, которая осталась в Литве, потому что всех остальных фактически вывезли. Лишь один мой дядя уже был в Америке в то время, куда переехал еще в 1944-м году, работал в банке. Он понимал, что будет, если он останется. Один мамин брат в Канаде оказался, другой оказался в Австралии. Его матери не повезло, самой старшей сестре моей матери, ей сказали, что ее сын в лесу. Она говорит: «Я не знаю, где он». А он был гимназистом, сел на велосипед и уехал на запад, его больше не видели люди. И когда он уже после сталинской смерти объявился, все узнали, что он в Австралии, тогда только с моей тети сняли обвинения, а так она, бедная, в лесу работала, рубила кедры.

— То есть тоже выслали?

— Да, массово выслали, одна тетя осталась каким-то образом. Ее сын был коммунистом, он стал председателем колхоза, они, по-моему, еще и взятку давали. В общем, тетин муж был крупный кулак, несколько не меньше нас. Но они каким-то образом выжили и очень много нам помогали: присылали посылки и деньги, для меня книжки литовские и вещи. В самом начале было довольно страшно, потом папа получил работу, его стали ценить, потому что он делал все очень старательно, любил все совершенствовать, придумывать свои варианты. Уже после смерти Сталина он вообще собрал строительную бригаду, туда он набрал молодых литовцев, которые там еще были, особенно всякую молодежь, у которых родители были в ГУЛАГах, и других, не только литовцев. Главный принцип был: чтобы не были пьяницами и [были] более или менее работающими. Он сам делал чертежи барачных, складов и даже производил расчеты. Это были деревянные постройки. Все делал для государства правильно, хорошо, и его бригада даже получала премиальные. Когда они уже освободились, у папы была целая куча грамот за хорошую работу. Самое смешное было, что после смерти Сталина его уговаривали вступить в партию.

— В каком году, не помните?

— Я не помню точно год, но это уже где-то 1956-й год. Это был очень смешной разговор: там был директор совхоза, с которым очень дружили мои родители. Жена его была учительницей, а папа у него работал. Он поговорил с моим папой, видит, что он человек грамотный, говорит ему: «Юстын Мартынович, вы настоящий коммунист! Вот такими должны быть коммунисты: порядочными, честными, работающими, надежными». А в нашем доме «коммунист» — это ругательство. Думаем, что папа ему скажет? А папа спокойно выдержал минутку, чуть-чуть улыбнулся, а потом говорит: «Ну, меня же сюда привезли не потому, что я такой хороший, меня же схватили как преступника, без суда, привезли сюда, все отняли, но я же не знаю, в чем была моя вина, я не мог исправиться, я не достоин». Это был конец таких разговоров.

Мои родители были очень активными. Моя мама, бывшая учительница, тут работает сторожем, сторожит баржи. Зимой, уже в послесталинское время, ей даже почему-то давали ружье. Она сидела в тулупе, эти баржи примерзшие, кто их там будет грабить? Но вообще-то воровали. Наши

лодки каждый год почему-то крали и папа каждый год заново делал не одну, а даже несколько больших лодок, чтобы можно было плавать на тот берег Витима по ягоды, по кедровые орешки и праздновать. Лодок было несколько и они делали несколько рейсов, плавали довольно большими компаниями на остров, там делали костер и праздновали: пели, плясали и так далее. Мама занималась молодежью по воскресеньям обычно или в субботу вечером. Она учительствовала, естественно бесплатно. Она обучала литовских детей литовскому языку, они писали диктанты, учили стихи. Я знала очень много стихотворений, потому что в то время у меня была хорошая память, я быстрее запоминала, чем эти ученики. Они учились петь, танцевать и даже выступали на каких-то русских праздниках, их уже знали и говорили: «Славно пляшут эти литовцы!» То есть все уже было как-то оптимистично, но я помню, что когда собирались, все было вроде бы в порядке, все сыты уже более или менее, все вроде бы ничего, а как все начинали петь песню на литовском, которая переводится как «Отпустите на родину, отпустите к своим», так все плакали. Я тоже много думала про эту родину. У меня есть поэма, которая называется «Родина моего детства» — это та родина, о которой я мечтала, которую я не помнила, но которую я представляла по картинкам, по рассказам мамы, которая очень много мне рассказывала, пела и стихи читала. Я знала разные обычаи, легенды и много всего прочего. Родину я представляла очень красивой: цветущие поля, красивые дома, которые я видела на картинках учебника для чтения. Мне снились цветущие сады. В Сибири этого быть не могло. Это у меня даже немного трансформировалось, и я видела во сне цветущие ели. Здесь были елка, можжевельник, кедр, сосна, а там совсем другие кустики, какие-то березки были. А яблоки — это была вообще фантастика. Они нам доставались или мороженые, или сушеные, других не было, и мы не могли их видеть.

Меня выслали родители отдельно в Литву и я несколько лет без них там жила у родственников.

— А когда?

— Это было в 1956-м году. Меня выслали из-за того, что я заболела, и после очень сложной, с большими осложнениями скарлатины, у меня что-то случилось со слухом. Мама таскала меня по каким-то теткам, бабкам, но какой-то типичный ученый, дяденька-медик — с бородкой, седой, очкарик, скорей всего, тоже ссыльный — сказал маме: «В вашем климате она, может быть, вырастет и поправится, если будет уход, если будет лечение, а здесь она вырастет фактически глухой». Для моих родителей это был еще один аргумент. Они хотели, чтобы я училась в литовской школе. Все равно они думали, что когда-нибудь тоже получат разрешение, потому что некоторые уже возвращались. И вот меня, так сказать, контрабандой к чужой семье пристроили, папа дал денег, переписался с родственниками, у которых можно меня оставить. Меня погрузили на баржу, потом мы очень долго ехали на поезде. Представляю, как та семья переживала, потому что я была очень живым, очень бойким ребенком, шныряла по всему поезду, со всеми обо всем болтала, и они боялись, что я проговорюсь, и у них будут неприятности, потому что они везут одного маленького «нелегальчика». Но в общем все было более или

менее нормально. Мы приехали в Плунге — это район недалеко от Клайпеды. Там меня должна была встретить та самая моя тетя, которая сделала нам много добра. Это было раннее утро, часов 6. Меня выгрузили с моим чемоданчиком, который был с меня ростом, я стою с этим чемоданчиком, смотрю, где же эта тетя. А тети — нема. Думаю, что теперь делать. Но я никогда ничего не боялась, меня не пугали ни милиция, ни кто другой. Я подумала: я читала про дядю Степу-милиционера, который спасает детей, приводит домой заблудившихся, и решила поискать милицию. Как раз то самое, чего не надо было делать. Мужчина, который видел меня со стороны, рассказывал: ходит такая букашка, громко кричит: «Где милиция?». И вот он подошел, это был местный железнодорожник, и спросил, зачем мне нужна милиция. Я ответила: «Чтобы к тете отвели» — «А кто твоя тетя?» Я показала ему адрес на бумажке, и он отвел меня. Я сидела у тети и уже уплетала блины за обе щеки, когда принесли телеграмму, что я приезжаю.

У меня было страшное разочарование после возвращения в Литву. Потому что я приехала в ноябре, деревья были без листьев, где там уж цветы, все хмурое, грязное. В Сибири не было такого, там вообще осени не было — сразу все замерзает, покрывается снегом и до весны все так и будет. А тут слякоть, грязь, деревья все засохшие. Но одно меня утешило — я увидела озимых в поле. Это было то, что меня воодушевило, все-таки не все здесь мертвое, не все пропало. Я пожила несколько лет без родителей, потом они приехали, я была у родственников. В Сибири я с детьми очень дружила, но если что — я дралась, потому что чуть что, мне сразу говорили, что я фашистка, бандитка. Я, конечно, это просто так не оставляла. А в Литве ко мне приставали, говорили, что я бандитка, мои родители были бандитами, и поэтому нас вывезли. У меня еще русские слова выскакивали, и из-за этого меня называли рускалкой и отрицательно относились — все это было неприятно, обидно и даже противно слышать. Я была не очень спокойной и не очень послушной, и когда меня взяла другая моя тетя, после того как я сделаю чего-нибудь нехорошего, она говорила, что моим родителям я уже так надоела, наверное, что они меня на их голову прислали, если ты будешь столько грешить, Бог тебя накажет и ты больше не увидишь своих родителей. Представляете, говорить ребенку такое! В общем, когда мне было 12 лет, они вернулись: и я их не узнала, и они меня не узнали — отпустили пушистого такого ребеночка, приехали — подросток костлявый, длинный, всезнающий, я уже всю библиотеку школьную прочитала и в городке тоже почти все, кроме какой-нибудь математики. Родители стали старыми, совсем не такими, какими я их помнила. Но потом я, конечно, быстро освоилась, и все было нормально. Папа, кстати, не успокоился, он получил реабилитацию в Литве уже. Без возвращения... в 1959-м году, 10 лет продержали спокойно, отпустили, и комендант города ему сказал: «Знаете, на вас дело-то не было заведено, вы были только в списке, так что можете идти». И только в 59-м их отпустили. Мой папа даже получил разрешение купить обратно свой дом, который был почти развалившийся, а мама очень злилась, потому что мы могли купить нормальный домик в городе, а он купил развалину и все наши сбережения туда ухлопал.

А он там опять сделал маленькую лесопильню, оборудовал заново свою кузницу. Директор совхоза его обожал, потому что он опять организовал строительную бригаду, по вечерам работал на кухне и был единственным человеком в округе, который умел хорошо подковывать лошадей. Он их спокойно привязывал за уздечку к столбу, гладил, брал ногу и подковывал безо всяких травм. У нас сложно было купить машину, тем более бывшим ссыльным, хоть и реабилитированным, но без возвращения национализированного имущества — так было написано в реабилитации. Но папа умел работать и зарабатывать. После своей основной работы он делал разные вещи для людей с разрешения директора совхоза, который его очень ценил. Когда папа уже созрел для пенсии и попытался уйти на нее, к его бригаде пришел какой-то молодой человек, который должен был стать прорабом. Через несколько дней они сделали забастовку, сказали, если Контремас не вернется, мы не будем работать. Потому что новый прораб слишком много командовал, а папа был с ними наравне и при том очень дружно. К сожалению, он погиб из-за любви к механизмам — купил старую машину-развалюху. Одну, потом другую, чинил их. С одной у него произошла авария, у нее что-то было с тормозами, его занесло зимой на льду под большой МАЗ. Никто не был виноват, никто не пьян, а просто неполадки в машине. Он был очень сильным и физически, и духовно, никогда не ругался, я никогда не слышала от него злого слова, даже когда нас вывезли. Говорил, что хоть мир повидали, какие-то пережили испытания, как будто уроки, но Бог с нами был, и мы выжили. Но мама, конечно, не могла простить, что ее так унизили, что она могла официально работать там только сторожихой, уборщицей, санитаркой.

— А учительницей ей там не позволяли работать?

— Ну, во-первых, она русский плохо знала. У меня карьера переводчица началась с трех лет примерно. Я помогала маме договориться в магазине, с соседками и прочими, потому что я сразу стала говорить на русском. В четыре года обнаружили, что на двух языках я читаю сама. Как я научилась — никто не знает. Но говорят, я подходила, спрашивала, какая это буква, какая это.

Мы не были в ГУЛАГе, но тосковали по родине, обязательно надо было вернуться. Мои родители были очень набожные люди, они учили меня молитвам. Священников не было, но мама с папой проводили молебны. А я придумала свою молитву. Во-первых, я очень сильно верила в ангела-хранителя, потому что у меня была картинка, где нарисован ангел-хранитель, который охраняет двух малышек, которые идут по какому-то мостику. И я верила, что этот ангел есть и у меня тоже, и ему я была благодарна за то, что я не погибла в тайге. Потому что когда мне было пять лет, я очень хотела в Литву, нам столько рассказывали о ней! Я решила пойти туда пешком. Нас везли туда поездом, потом рекой, значит, мне надо пройти вдоль реки, дойти до рельс и по этим рельсам дальше идти. Мама сказала, что Литва в той стороне, где солнце заходит, вот я и пойду в ту сторону. Потопала я вдоль реки, а потом начался очень скалистый берег, я отошла в сторону и смотрю, что я уже реки не нахожу больше, а тут тайга, про которую я знала, что она очень опасная,

много всяких страшных зверей и что там можно заблудиться и не вернуться. Там водятся медведи, один маленький мишка даже жил у нас во дворе, его родителей, видимо, застрелили, и он был сироткой. Мы все дружили с ним, но потом он вырос большим, задрал соседскую собаку и его куда-то увезли. В общем, я знала, что это опасные вещи и стала бояться. Солнце уже низко село, я поняла, что до Литвы далековато, а я одна в тайге. Тогда я начала говорить своему ангелу-хранителю: «Я больше не буду такой, я буду хорошей, только ты помоги мне вернуться домой». Вдруг, через какое-то время, я вижу, что кустики шевелятся и там какая-то тень. Я подумала, что это медведь, замерла, вспомнив рассказы, что если ветер дует со стороны медведя, то он еще не почует и от него можно убежать, а если с твоей стороны дует ветер на медведя, то тогда только ложись, притворяйся мертвой. Но ветер был как раз со стороны этой тени, и я во все ноги пустилась бежать, не смотря, куда я бегу. Так я выбежала к реке. Потом вернулась домой, получила очередной раз взбучку, потому что я была таким ребенком, который выходил с утра, приходил ночью и получал свою порцию воспитания. Когда я уже была больше, я говорила маме, что это не педагогично. Я так и не призналась родителям, куда я ходила.

— Вы ходили с другими ребятами, детьми в тайгу, за ягодами или куда-нибудь еще?

— Меня брали, я была маленькой, и одна я, конечно, не ходила. Ходила с сестрами на брусничные поля, где можно сесть и сразу ведро набрать, не поднимаясь с места. Там люди считали ведрами, а не литрами, сколько там чего набрали. Но в основном ходили за брусникой, также была черника, но мало, и совершенно не было малины, во всяком случае, я ее не помню. Поэтому в Литве у меня было недоразумение с малиной: меня взяли с собой собирать малину, а я очень хорошо ее ела. И когда я увидела, что иногда в малине кое-кто живет, у меня такая реакция была, что я до сих пор запах не переносу. Еще ходили и по кедровые орешки. Но это уже взрослые, они плыли далеко по реке, подальше от города, потому что там росли хорошие кедры. Детей с собой не брали, потому что они туда с ночевкой плыли. Иногда на другом берегу реки ночью можно было видеть костер. Они меня не брали, хоть я очень сильно просила.

— Обычно литовцы плавали туда или кто-то еще?

— Да, обычно туда плавали литовские компании. Но и другие люди тоже плавали.

— Они научились говорить по-русски?

— Да, конечно, более или менее. Между прочим, у моего папы там появилась еще одна интересная специальность. Он как настоящий хозяин, хуторянин, умел обходиться со скотиной, и у нас держали свиней. Один раз мой папа увидел, как соседи гоняются за полузarezанной свиньей, она визжит и разбрызгивает кровь. Папа предложил прикончить эту бедную свинью, один раз ударил и все. Потом его попросили помочь разделать эту свинью, и он помог, сделал все аккуратно, чисто. Русские люди были добрыми, и когда начинался сезон, все звали на помощь моего папу, и у нас всегда было свежее мясо.

— А вы делали сало по-литовски?

— Делали. Мама даже колбаску делала и, я помню, соседи удивлялись, потому что они не знали, что можно это дома сделать. Один раз нам прислали небольшое количество ржаной муки, и мама испекла ржаной хлеб. Был такой запах! Когда я училась в Ереване, я во сне видела черный хлеб, которого там не было. Но это уже другая история.

— Много литовцев было в Бодайбо?

— В этом городе было их как-то много. Особенно после Сталина, видимо, кое-кто перебрался из леса. Потом, когда я уехала, мои родители перебрались в Черемхово, где была семья маминого брата и другие литовцы.

— А воскресная школа, в которой преподавала Ваша мама, была в Бодайбо?

— Да, она была в Бодайбо. Это была не то чтобы настоящая школа, это была группа, которую мама собирала и занималась с ней.

— Вы не знаете, она получала на это какое-то разрешение или это тайком делалось?

— Это было безо всякого разрешения, но там никто не доносил.

— А коменданта Вы помните?

— Нет, с ним я не имела дела. Родители с ним общались.

— То есть Вас не водили к нему отмечаться?

— Нет, я была маленькая, видимо, несовершеннолетние им не были нужны, поэтому меня так спокойненько выслали. Я была в списке. Когда я получила документ о ссылке, там было написано, что я все 10 лет там и пробыла, хотя на самом деле это было не так. Я хотела быть честным человеком и сказала, что я не все это время была в ссылке, но мне сказали, что по документам так. Я не стала с ними спорить.

— Значит, коменданту никто не сказал, что Вас нет?

— Нет, мои родители никому ничего не сказали. Я не знаю, знал ли об этом комендант или нет. В документах было написано, что мы все вернулись из Черемхово, а меня там не было.

— У Вас был статус спецпереселенца или нет, потому что у детей часто не было этого статуса?

— У меня есть документ о реабилитации меня и сестер.

— А когда Ваш папа добился реабилитации? В каком году это было?

— Это было в хрущевское время, не помню, в какой точно год. Я не фиксировала эти даты, хотя надо было. Я ведь думала, что воспоминания всякие буду рассказывать только детям и внукам. У меня уже была книжка с моими стихами. Однажды, в 1982–1983-м году я сильно заболела, и вдруг у меня из головы полез текст, который надо было записать. Я стала писать, потом посмотрела на него и подумала, что такое нигде не напечатается. А потом, уже в 1989-м, когда об этом уже стали открыто говорить, я написала эту поэму до конца, чтобы оставить детям, внукам, правнукам и так далее. В этом же году у нас появилась книга «Воспоминания детей». В первый раз за долгое время я получила большой гонорар. В этой книге есть фотография нашей семьи, мы сидим в нашем огороде.

— То есть у вас был свой огород? Он довольно быстро появился?

— Да, сначала мы были в бараке, а потом нам дали половину дома, и около него был кусок земли, где можно было сделать себе огород. Наши соседи, которые имели другую половину, были немного выпивающими и не сильно работающими, но они сажали у себя немного картошки, а у нас была даже теплица, где можно было сажать уже весной или держать там поросенка. А потом нас уже переселили в другое место, и там уже не было земли, где можно было иметь огород. Это был не то чтобы барак, а, скорее, комната с прихожей и кухней и одной большой комнатой.

— Ваши сестры остались жить с родителями?

— Да, сестры остались с родителями, они оканчивали школу, и обе поступили в медицинский техникум на фельдшеров-акушеров. Старшая сестра хотела быть ветеринаром, и она поехала поступать в Улан-Удэ, но ее не приняли, потому что им нужно было иметь свои кадры, а она бы выучилась и уехала. Поэтому она тоже пошла в медицинский, хотя всю жизнь любила животных. Обе мои сестры работали в Литве фельдшерами-акушерами и медсестрами.

— Они вернулись вместе с родителями? Ни одна из сестер не вышла там замуж?

— Нет, только одна моя средняя сестра познакомилась там с литовцем, и уже в Литве они поженились. А старшая — нет. У нас на хуторе близко была только начальная школа, в которой мама работала опять, потому что ей не хватало стажа, не учила же она эти 10 лет. В этих деревенских школах она работала, пока не набрала нужный стаж, хоть возраст был уже давно не тот.

— То есть, когда они уже вернулись, не было проблем с устройством на работу учительницей?

— Нет, учителей в то время не хватало, особенно в глухих деревнях.

— А как называлась Ваша деревня?

— Наша деревня была Вилкайчу — от слова волк, волчата. Район Плунге. Наш лес уже был на границе с районом Тельшяй.

— Родители, когда вернулись в 1959-м году из Сибири, они сразу смогли вернуться на место, где был дом?

— Да, просто моего папу очень легко взяли, он был нужным человеком. Получить специалиста для такого глухого совхоза было сложно, и директор был очень рад, он помог получить нам разрешение, чтобы мы смогли купить дом, который уже был полуразвалившимся. Я помню, были такие бревна, что можно было пальцем проткнуть.

— Это был ваш дом?

— Да, бывший наш дом.

— То есть вы сразу же его и выкупили?

— Да. Папа там очень много работал. Я помню прекрасные моменты, когда мы с ним вместе работали. Он делал машину для того, чтобы делать дранку, длинные щепки, которыми покрывали крыши. Я ему, конечно, помогала. Он сделал маленькую лесопильню. У нас были вредные и завистливые соседи, которые все вытащили и растаскали, когда нас увезли, говорили, что опять надо раскулачивать моего отца, приехал, фабрику тут устроил. Папа платил за электричество, по договоренности с совхозским директором. По вечерам в субботу он работал для людей, у него

было разрешение, он халтурил, так сказать, но это была хорошая, порядочная работа. Сейчас бы за это он налог платил и все, а тогда это было не совсем легально, но, поскольку начальство его любило, оно закрывало глаза. Он делал много-много дранки, а я брала в охапку эту дранку и несла на крышу. Мой отец очень хотел сына, и я пыталась ему заменить этого сына. На крыше было очень красиво, деревья выросли вокруг, некоторые из которых сажали папа и дедушка. В общем, это было свое королевство. Я потом ходила по этому, заросшему крапивой, двору и думала: «Вот она, наша земля!» Но когда папа погиб, мама продала этот дом, и его у нас больше не стало.

— Где Вы учились в Литве?

— Я училась в разных местах, потому что на хуторе не было школ. Я уже была пятиклассницей, когда мои родители вернулись. Я жила то у одной сестры, то у другой, потом одно время в интернате, в Клайпеде у средней сестры, окончила школу там, поступила в университет на литовский язык и литературу, потом поехала на стажировку в Ереван, откуда вернулась с молодым человеком.

— Вы ему сказали, что были переселенцами?

— Конечно, я этого никогда не скрывала.

— Он не боялся?

— По-моему, не очень. Но его родители немножко опасались какое-то время. Я выступала в антикоммунистическом духе, и его родителям, которые оба были коммунистами, это не очень нравилось.

— Вы говорите, что никогда не скрывали, что вы спецпереселенцы. До перестройки тоже?

— Понимаете, в Литве, когда мои родители приехали, я уже была пионеркой. Сама пошла. Мне нужна была какая-то идеология, и эта «розовая» оттепель, когда реабилитировали родителей, [и думалось, что,] хоть там и были ошибки и перегибы, теперь мы все будем братья, друзья. Я сама поступила в комсомол. Когда родители узнали, мама ругалась, а папа плакал. Мне было очень больно, но я думала, что не понимают они, что мы будем строить светлое будущее, и все будет хорошо. Когда я стала комсоргом школы в 10-м классе, тогда я сильно разочаровалась во всех этих вещах, потому что мне надо было ездить на всякие районные конференции, там я насмотрелась на всех этих районных лидеров, которые пьют, развратничают, черт знает что делают. А я была такая идеалистка, за весь класс платила членские взносы, потому что многие люди не платили, пыталась что-то организовать. Потом я поняла, что это бессмысленно, бросила все, и уже в 11-м классе сказала, что больше не буду этим заниматься, мне надо было готовиться к вступительным экзаменам. А в университет я получила прекрасную характеристику. Про ссылку я не написала, это единственное место, где я скрыла. То есть я родилась в Литве, школу окончила в Литве, а какое кому дело, где я там побывала. Потом они уже раскопали данные и разобрались, когда я работала на телевидении.

— Получается, когда Вы поступали в университет, Вам это не помешало никак?

— Нет, я об этом не писала, и никто, видимо, об этом не донес. Я была комсомолкой, правда, я уже потом очень быстро отошла от любой

активной деятельности, особенно после 1968-го года, после Чехословакии, — это был сильный удар по оставшимся «розовым» кусочкам идеализма. Тогда я первый раз начала слушать с папой голоса по радио, когда все коммунистические партии осуждали Советский Союз, даже французские, которые были лояльными. Тогда я стала кое-что понимать.

— Скажите, когда Вы были активисткой в комсомоле, не было такой ситуации, когда прошлые депортации всплывали, но Вас не упрекали? По поводу кого-то другого не говорилось, что он сын кулака и тому подобное?

— Нет, я окончила университет в 1971-м году, позже пошел застой. Уехала в Ереван, а после него я приехала в 1973-м году обратно, получив два года стажировки направления Союза писателей, чтобы переводить поэзию и другую советскую литературу. Когда я вернулась, это был как раз момент, когда у нас очень сильно усилились репрессии, потому что диссиденты стали больше проявляться, потом было самосожжение парня в Каунасе. Если бы я была в Литве, я бы точно попала в эту компанию, потому что я бы точно поехала туда. Но я была в этот момент в Ереване. Когда я вернулась, я поняла, что что-то изменилось. Это очень заметно было в магазинах — стало очень мало импортных товаров. Появилось общее такое недоверие. Как-то я встретила на улице своего бывшего преподавателя, и он меня легко взял на работу в энциклопедию, поскольку я знала несколько языков, любила копаться в книгах, словарях, энциклопедиях. Я поработала какое-то время там, а потом меня пригласила моя хорошая знакомая на телевидение. Меня туда сперва приняли на место той, которая ушла в декрет. Это было в 1980-м году. Я была оформлена временно, но на самом деле сказали, что я останусь, потому что я хорошо работала, мне даже разрешали вести прямой эфир, потому что я не боялась микрофонов и всяких камер с детства. Когда я заболела и лежала в больнице, еще не вышел срок даже, меня уволили. Я думаю, что они там раскопали мое кулацкое прошлое. Потом я ушла в вольные писатели, работала переводчиком. Меня более или менее содержал Руслан, он у нас программистом работал на больших советских машинах, которые целую комнату занимали.

— Вы говорили, что вас и в Сибири называли иногда фашистами, бандитами. Прокомментируйте это, пожалуйста.

— Да это дети, особенно когда злились, ссорились из-за чего-нибудь, то они говорили. А взрослые очень быстро поняли, кто есть кто. Там и другие ссыльные были, не только литовцы. Были украинцы, помню соседей-армян.

— Что Вам говорили родители о ссылке?

— Ничего особенного еще не рассказывали тогда. Говорили, что неправильно нас взяли и увезли, что плохая власть, что до этого была хорошая жизнь. Мама работала и много зарабатывала.

— Вы не помните, Вам родители говорили, о чем можно говорить, а о чем лучше помолчать?

— Когда они приехали и нашли меня такой «красноватой», они очень остерегались уже. Пока я была маленькая, что слышала, то слышала, а так специально меня ничему не учили. Правда, мама старалась литовский

патриотизм мне внушить. Я по вечерам молилась не только ангелу-хранителю, я и Литве молилась.

— Когда родители уже приехали к Вам туда в Литву и выяснили, что Вы пионерка, говорите, они стали остерегаться, то есть, например, «Голос Америки» отец при Вас не слушал?

— Нет, он слушал, но я же не буду доносить на родителей. Но я немножко спорила, дискутировала с папой. А с мамой невозможно было спорить, потому что она сразу злилась, и я уже не хотела ее дразнить больше.

— А дети или подростки в Литве, Вы говорите, тоже Вас называли бандитами?

— Это было только в самом начале, только в первый год, когда я только приехала, я путала русские с литовскими слова в разговоре, при том еще диалект у меня не совсем тот был. Поэтому я пока освоилась, очень быстро переняла все, что надо, и потом меня оставили в покое.

— Откуда они узнали, что Вы оттуда приехали?

— Там был маленький городок, и все всё друг о друге знали.

— Вы там учились на литовском, когда вернулись?

— Конечно! У нас, чтобы пошли в какую-то другую школу литовцы в Литве — это невозможно.

— Вам не сложно было, если Вы первый класс заканчивали в Сибири?

— Первый диктант в Литве я написала на «единицу», потому что некоторые грамматические правила я знала, а некоторые не совсем. Но больше такого не повторялось. Читать я умела, знала множество стихотворений. На Новый год я уже высказала Деду Морозу целую поэму.

— О смерти Сталина Вы помните?

— Да, я помню, как мои сестры пришли из школы и рассказывали, что учителя велели плакать, а они закрыли лица и хихикали. По всему городу висели флаги, красные с черными лентами, играла траурная музыка.

— И XX съезд тоже помните?

— Я уже была в Литве и, конечно, интересовалась. Папа приучил меня читать газеты и смотреть политику, потому что мы часто с ним говорили про политику. Я поняла, что идет разоблачение Сталина, все плохие дела уже будут раскрываться, людей отпускают, все будет в порядке. Ну, а потом я уже увидела реальную жизнь.

— Вы не можете еще немного подробнее рассказать о жизни, с которой Вы начали, о жизни в Бодайбо, какие были праздники литовские и кто их устраивал?

— В основном это были мои родители. Я помню, был съезд бодайбовских ссыльных. Там участвовали некоторые довольно известные люди, например, среди них был министр транспорта Жежских и, представьте себе, он вышел воспоминания рассказывать и минут пятнадцать рассказывал про моего папу, как он там молодежи поддержку делал, как он там замещал просто отцов, воспитывал даже, читал нотации, дружеские, конечно. И, в общем, я была очень удивлена, потому что он там много о нем говорил. Действительно, мои родители там имели большое влияние

на эту литовскую общину и не только литовскую, кстати. Там еще мы дружили с украинцами и другими, ходили друг к другу в гости. Это были нормальные такие отношения. Мои родители вообще очень верующие люди, но они настоящие христиане. В смысле, любить Брежнева для них нормальное состояние. Кроме коммунистов. Папа мог даже коммунистов любить. А вот мама нет, мама не прощала. Когда она узнала, что я комсомолка, такая каша была дома.

— А приходили украинцы, например, на Ивана Купала, праздновали с вами?

— Нет, ну понимаете, тут собиралась компания, иплыли по реке в лодках. Ну, так мы праздновали, а украинцев я не знаю. Я не очень-то и смотрела, кто там что делает. Ну, большие взрослые люди, в основном литовцы, потому что по-литовски пели, по-литовски праздновали. Например, на Рождество нам присылали всегда маленькие хлебцы, тоненькие-тоненькие такие, освященные. И мы там тогда тоже делали дома обряд, прощались, за грехи извинялись, молились, в общем, красиво это все делали. По обычаю литовскому, обязательно 12 блюд [было] на столе, но только все постные, это все делалось обязательно. И приходили соседи, а на Рождество так уж точно дети вместе собирались. Мы там играли и пели, делали что хочешь. Еще отмечали Новый год и Пасху, яйца красили. Все это делалось, все это соблюдалось. Чуть-чуть даже замещали священников мои родители, были грамотные. Народ был очень разный, насколько я понимаю, не много было интеллигенции, видимо, интеллигенцию возили в Сибирь поглубже, подальше, к северному полюсу поближе. А так это был в основном контингент, видимо, деревенский. И мои родители имели большой авторитет среди них.

— В 70-х годах Вы работали в литературной сфере, у Вас были отношения с диссидентами?

— Нет, и ничего такого не было. Во-первых, возможно, помня меня, мое «розовое» прошлое, еще то, что я была комсомолкой, когда уже кончился возраст, я сказала: «Все, оставьте меня в покое, никаким коммунистом я не буду». Потом очень долго меня уговаривали. Когда я поступила в Союз писателей, самое смешное, что меня очень уговаривали поступить в партию. Было это очень похоже на агитацию папы. Ты такая открытая, такая честная, борешься за справедливость. В общем, я так и не поступила. С диссидентами вот что было: в один момент меня хотели, видимо, спровоцировать. Потому что одна моя однокурсница — мы все знали, что она стукачка, — предлагала мне хронике пописать. Я сказала, что не хочу, потому что я понимала, что это будет. Она меня хотела познакомить с каким-то полковником, очень интересным человеком. Я отказалась. Я просто избегала — зачем мне это надо? А с диссидентами у меня не было дела, просто не было.

После университета я очень быстро уехала в Армению. Два года [там] провела, приехала с Русланом и трехмесячной дочкой. И я закрутилась в быту просто. Еще эти переводы, кое-что писала сама. Подальше от политики. Ни в одной книжке моей нет ничего советско-идеологического. Первое мое стихотворение называется «Родина моя маленькая». Я избегала этого, я не хотела. Я поняла, что это плохо. Если бы это была все еще

моя идеология, я бы лезла всюду. А с диссидентами у меня просто контактов не было. Очень многие связывались через церковь, но я же читалась Энгельса и всяких прочих. Опять-таки, с родителями была большая проблема, потому что я была от них отдельно. Когда они приехали, у меня в голове [было] уже черт знает что. На счет боженки уже были большие и очень большие не то что сомнения, я уже неверующей была просто. Потому что мне никто не отвечал на некоторые вопросы, и я находила брошюры и читала там о эволюции и всем прочем. Потом со священниками я бы, может, и встретилась, но я не ходила. Я ходила в костел раз от разу просто так. Мне там было хорошо, вспомнить на Рождество, на Пасху. Там опять была другая история, я умирала практически, я всю ночь молилась, у меня были две дочки: одной два года, другой четыре. Я первый раз после долгого времени просила Бога: «Может быть, ты все-таки есть и понимаешь, что мне умирать нельзя». И выпросила. Потом как-то так, я очень натурально нашла описание и просто поняла, что это для меня. И потом уже нормально бывала в церкви. А во все это время, до 80-х годов, я просто избегала всех этих вещей.

— По тому, как Вы рассказываете, [возникает] ощущение, что Ваши родители не жалели, что Вас отпустили?

— Возможно, что они и жалели, но они так очень четко этого не высказали. Какой-то намек вроде был у папы. Мама только ругалась. Она была очень хорошей учительницей, но дома она скандалила и ругалась и кричала на нас, нервы, знаете ли. Говорят, многие учителя так.

— У Вас в Сибири были русские учителя?

— В Сибири я только в первый класс пошла, и все. А в Литве я, кстати, страдала из-за русского языка. Потому что я, когда училась в разных школах районных, я знала лучше, чем учителя, русский язык, я им подсказывала и корректировала. А меня в угол ставили за это и ругались.

— С другой стороны, получается, от того, что Вы уехали, Вам удалось пойти в университет учиться. А у сестер не получилось. Они не жалели, что их не отправили?

— Они не могли, старшая сестра уже вроде и не думала ни о чем таком. А средняя — у нее был красный диплом. В школе «пятерки» сплошные, в техникуме красный диплом. Ей предлагали в институте учиться, сразу без конкурса поступить, но она собиралась ехать в Литву. И она не поступила. Приехала в Литву, а в Литве нет русского отделения медицины, а по-литовски она не может, потому что школу она русскую кончала. Она с девяти лет до среднего дошла. И вот она вроде бы собиралась, но вышла замуж, и все заглохло. Она бы была хорошим врачом, я уверена.

— Ей это помешало, получается, очень сильно?

— Ей помешало, что она языка не знала нормально литовского.

— А остаться там одна не хотела?

— Нет, она хотела в Литву. Скорее всего, из-за того, что парень ее тоже в Литву собирался. Будущий ее муж. Они там познакомились, наверно, в Черемхово. Он был сыном офицера литовского. Отец в лагере погиб, а он с матерью, сестрой и еще одним братом на лесопилках работали. Я помню, что я приглядывалась, эффектный парень, но потом ока-

залось, что страшно пьющий, потом разойтись пришлось. Спирт надо пить, потому что холодно. Взрослые мужики поили, и он стал алкоголиком. Когда трезвый был, был нормальный, порядочный, вроде бы все в порядке, а пьяный был зверь, и сестра разошлась с ним. Так что, к сожалению, и медиком не стала. Она всю жизнь была хорошим медиком, медсестрой, в роддоме работала, ее всегда хвалили.

— Когда Вы жили в Сибири, Ваши родители не считали, что всем трем дочкам нужно выйти замуж за литовцев, чтобы можно было вернуться?

— Я что-то не помню таких разговоров или я просто не слушала взрослых в то время. А когда они приехали в Литву, все уже было совсем по-другому. Но, конечно, они хотели, чтобы было так.

— Вы говорили, что Вас хотели еще в 1948-м выслать. Можете поподробнее об этом рассказать?

— Моя старшая сестра помнит, что кто-то еще ночью постучал в окно и позвал папу выйти во двор. Она не видела, кто там был. Этот кто-то сказал не зажигать свет. Папа вышел и сразу стал собираться в дорогу. Они выехали ночью из нашего хутора в городок в Плунге, недалеко, кстати, поэтому быстро нашли. Предупредил кто-то, видимо, из тех, кто знал, имел доступ к этим спискам. Моих родителей очень любили и поэтому предупредили. Кстати, мои родители имели контакт с лесными братьями. Это я узнала очень поздно. Старшая сестра мне недавно рассказала, что к Пасхе приходили с красиво начищенными автоматами, очень чисто побритыми, пели литовские песни и молились на Пасху. Рядом были большие леса, туда мы ходили по чернику, но я не знала, что рядом был бункер на одном островке среди болота.

— Когда Вы узнали, что это бункер?

— Где-то только в 1990-х годах.

— То есть родители Вам не рассказывали об этом?

— Нет, ничего такого не говорили.

— А еще есть такие?

— Там ямы есть, я видела, по телевидению показывали, литовские и жемайтйские.

— Ваши родители Вам что-нибудь рассказывали о лесных братьях?

— Нет, не было на эту тему разговора вообще.

— И Вы даже не знаете как они их называли: лесные братья, партизаны, бандиты?

— Бандитами их точно не называли. Да и вообще не было про них разговора.

— А о войне были разговоры?

— О войне был такой разговор, что приходили, хотели забрать моего папу в Красную армию, но мама сфальсифицировала его паспорт, сделала его на 10 лет старше. На него посмотрели, сказали, что он хорошо выглядит, но раз уж он уже пожилой, не стали его забирать и оставили в покое. Папа говорит, если бы мама этого не сделала, может быть, нас не вывезли.

— А какого года рождения папа?

— 1912-го. А мама сделала его 1902 года рождения. Когда ему надо было идти на пенсию, он только тогда исправил свои документы.

— А немцы?

— Моя мама хорошо говорила по-немецки, и моя старшая сестра прекрасно помнит, как шоколадом угощали, как приходили чистые, пахнущие солдаты, офицеры. Маме говорили комплименты, целовали ручку, а мама с ними щebetала по-немецки, и все было хорошо. Давали продукты, все, что надо. Опять-таки, это был хутор, не рядом с большими дорогами, там рядом только проселочная дорога между маленькими двумя городками. А когда пошли советские солдаты, [они] были такими страшными, бедными, обшарпанными, воровали. Немцы не обижали нас.

— Евреи были в этом районе?

— В деревнях их не было. Они были в городках, в Плунге, конечно, были, в Тельшяе их было много, но я ничего про это не знаю. Родители тоже ничего такого не знали.

— Это русские солдаты сказали Вашей матери, что она сделала плохо?

— Нет, это наши, литовские «истребители». А русский мальчик говорил нам не бояться.

— Вы не знаете, их по доносу тогда арестовали или нет?

— В список включали видных людей: мама — учительница и зав. школой, папа — тоже видный человек, все его знают, все его видят. У нас было 30 га земли, на нас работали наемные люди. Так как мама была учительницей, она не успевала все делать по хозяйству, поэтому нанимали какую-то женщину, чтобы она работала, няньку, пастушонку, потому что сестры были маленькими. Потом они уже сами этим занимались. И папа тоже имел какого-то помощника, но он работал наравне с ним. В общем, нас считали кулаками. Кстати, мой дедушка, который был в Америке, а потом вернулся сюда, к любимой женщине, был большим демократом. Он купил большой хутор, нанимал людей, но платил им больше всех, к нему был всегда большой конкурс, притом он каждую субботу делал для них уик-энд: после обеда их отпускал. А если надо было что-то срочное делать, например, сено собирать перед дождем, он доплачивал. Папа жаловался, что [дед] их отпускает, а его заставляет работать, говорил: «Почему они не должны работать, а я должен?» Дедушка отвечал ему: «Они для тебя работают, а ты для себя».

— Когда Ваша семья, родители вернулись из Сибири и поехали туда, в деревню, не знаете, их легко пустили или нет?

— У нас были одни соседи, которые все хорошо разворовали, так они еще на нас шипели. Однажды мама зашла к ним и увидела много наших вещей. А другие соседи привезли пару ящиков с приданым — с разными вещами, постельным бельем. Когда нас вывезли, они пришли, все собрали, вывезли, а когда мы вернулись, они нам обратно привезли.

— А фотографии, сделанные до ареста, были с Вами в Сибири или Вы их нашли, когда вернулись?

— Мы их нашли у родственников, когда вернулись. К сожалению, у нас дома в Литве еще пожар был, и много фотографий сгорело.

— Если еще говорить об этом опыте ссылки, Вы встречались с другими людьми, которые тоже были из бывших ссыльных? Я имею в виду, до 90-х годов. Вы с ними разговаривали?

— Как-то не было у меня таких контактов. Мои сестры как-то таких людей находили, потому что это были их бывшие подруги, которые тоже вернулись. Они переписывались, встречались. А у меня ничего такого не было.

В 1987-м году я участвовала на празднике советской поэзии в Узбекистане. Меня туда отправили, потому что я умела говорить по-русски, я кое-что свое перевела и участвовала. Со мной, для присмотра, туда ездил еще один мужчина, ярый коммунист. Меня в одном институте русского языка представили и спросили, откуда я так хорошо знаю русский язык, я и сказала откуда. Вы не представляете, как оживился весь зал! Мне потом сказали, что тут масса ссыльных татар и чеченцев. Потом они очень сильно мне хлопали. Это уже был 1987-й год.

— А детям когда Вы в первый раз рассказали об этом?

— Детям я рассказывала и показывала фотографии, но я не очень сильно рассказывала, пока они были маленькими. А когда они выросли, мы вместе все воевали, стояли у башни с флагом, кстати, армянским. Я специально сказала взять Руслану армянский флаг, чтобы видели, что здесь не только литовские националисты, но и другие есть.

— Что для Вас значит слово «националист»?

— «Националист» — это плохое слово. А «патриот» — это другое слово. На литовском, националист — это тот, кто признает только свое, считает свою расу высшей. Я этого не одобряю.

Руслан больше меня патриот Литвы. Это было в 1991-м году в Вильнюсе. Поначалу он ходил дежурить. Мои дочки были около башни. В эту ночь я им сказала: «Давайте вы идите к башне». Я думала, туда придут и распугают всех и разгонят, но я неправильно подумала. Они были там, в тот момент, когда это все шло, они были там, когда нашего соседа раздавило танком. Они уже собирались идти домой, уже было поздно, и они подумали, что ничего уже тут нет интересного и пора домой. Они по параллельной улице шли домой и увидели, что едут танки и танкетки. Они вернулись, мои героини, встали в первый ряд внизу, немного ниже башни. Но там тоже от выстрела танка у моей младшей была легкая контузия. Она у меня училась музыке, потом у нее была проблема со слухом, не то, чтобы плохо слышала, у нее в голове стоял гул, от которого бывало даже головокружение. Но у нас даже не было мысли, что мы не участвуем в таких делах. Я была такая злая на то, что какое-то время верила во все это.

— Вы были убеждены тогда, что это будет успех?

— Нет, я думала так: «Если я погибну, я все-таки еще и поэт, может, будет минус этим гадам, которые меня убьют, если ранят, — так я еще и свидетелем буду». Я не думала, что все будет очень хорошо, но я была уверена, что это точно просто так не пройдет, оттуда было просто невозможно уйти. Притом как мы там молились! Это была фантастика! Мы молились Розарии, сплошь все повторяли. Создалась какая-то аура, общее поле, в котором ощущалось что-то хорошее. Это было одно из ярких и, можно сказать, счастливых моментов моей жизни. Конечно, очень скорблю по тем, кто погиб. А там, возле башни, погиб даже одноклассник моей старшей дочери, которому было 17 лет. Я его помню с детского

сада, он был рыжим и все время задирали мою дочку. Он был единственным сыном родителей, которые поздно поженились, и он был их единственным и последним ребенком. И сосед наш, отец троих детей, пошел искать своих детей ночью, и его задавил танк.

М. Кравери, А.-М. Лозански

ТРАЕКТОРИИ ДЕТСТВА В ГУЛАГЕ. ПОЗДНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕПОРТАЦИИ В СССР*

Мои воспоминания начинаются со дня депортации. Это было очень красивое путешествие, и мы должны были ехать на дачу. Однако пункт нашего назначения оказался совершенно другим...

Рафаэль Розенталь

Введение

Первые работы о системе исправительно-трудовых лагерей в СССР, появившиеся на Западе после Второй мировой войны, характеризуются вдохновением человека, пишущего автобиографию¹ или представляющего коллективные воспоминания², и являются литературным произведением и взглядом одновременно свидетеля и обвинителя. Почти полное отсутствие доступных письменных источников и трудность получения устных свидетельств обескураживали большую часть историков, политологов и социологов, пытавшихся проводить систематические исследования о массовых репрессиях в СССР³. Зато с открытием советских архивов и появлением возможностей для исследовательских командировок стало формироваться представление о советской концентрационной системе: ее становление в 1920-х гг. на Соловках⁴; ее постоянное расширение в 1930–1940-е гг. вместе с безмерной эксплуатацией работавших на лесоповалах, промышленных предприятиях и в шахтах жертв террора⁵; различные операции по

* Перевод С.Н. Ушаковой.

¹ См., напр.: Margoline J. La condition inhumaine. Cinq ans dans les camps de concentration soviétiques. Paris, 1949. (Неполное издание полностью опубликовано только в 2010 г.: Margolin J.B. Voyage au pays des Ze-Ka. Paris, Le Bruit du temps, 2010); Herling-Grudziński Gustaw G. A World Apart: a Memoir of the Gulag. Londres, 1953; Guinzbourg Evguénia S. Le Vertige. Paris, Seuil, 1980 и Le ciel de la Kolyma. Paris; Seuil, 1983.

² Soljenitsyne Alexandre I. L'Archipel du Goulag. 1918–1956, essai d'investigation littéraire. Paris; Seuil, 1976. [Tome 3.]

³ Заметным исключением являются работы: Conquest R. Kolyma, The Arctic Death camps. Londre, McMillan, 1978 и Gross J.T. Revolution from Abroad. The Soviet Conquest of Poland's Western Ukraine and Bielorusia. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1988.

⁴ См.: Jakobson M. Origins of the Gulag. The Soviet Prison Camp System 1917–1934. Lexington: University Press of Kentucky, 1993.

⁵ Ср.: Ivanova G.M. Labor Camp Socialism. The GULag in the Soviet Totalitarian System. Armonk (N. Y.), Sharpe, 2000; Khlevniuk O.V. History of the Gulag. From Collectivization to the Great Terror. Londres: Yale University Press, 2004; Pohl J.O. The Stalinist Penal System. A Statistical History of Soviet Repression and Terror, 1930–1953. Jefferson, McFarland and Co., 1997; Pohl J.O. Ethnic Cleansing in the USSR, 1937–1949. Westport: Greenwood, 1999; Lynne V. The